

НОВОЛЕТНИЙ МИР

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ И ОБЩЕСТВЕННОЙ МЫСЛИ

Издается с января 1925 г.

№ 1 (1089)

Январь, 2016 г.

СОДЕРЖАНИЕ

МАКСИМ АМЕЛИН — Пределы воздуха, стихи	3
ДМИТРИЙ БАВИЛЬСКИЙ — Разбитое зеркало. Венецианская повесть в 82-х главах и 12-ти сносках	8
ИРИНА ЕРМАКОВА — Маятник, стихи	55
РОМАН СЕНЧИН — Косьба, рассказ	58
ИГОРЬ КАРАУЛОВ — Гадай по ветчине, стихи	69
АЛЕКСАНДР ИЛИЧЕВСКИЙ — Точка росы, рассказ	73
АННА ЗОЛОТАРЁВА — На языке затона, стихи	75
СЕРГЕЙ ШАРГУНОВ — Валентин Катаев, главы из книги	79
МАРИЯ МАРКОВА — Из беспощадного огня, стихи	113
МИХАИЛ ЭПШТЕЙН — Мертвая Наташа, рассказ	118
GERMAN ВЛАСОВ — Летят будто птицы, стихи	133

ФИЛОСОФИЯ. ИСТОРИЯ. ПОЛИТИКА

ПАВЕЛ НЕРЛЕР — В Москве (Ноябрь 1930 — май 1934)	137
--	-----

ДАЛЕКОЕ БЛИЗКОЕ

АЛЕКСАНДР МАНДЕЛЬШТАМ — Несколько слов об отце. Вступительное слово и примечания Павла Нерлера	165
---	-----

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

О СТИХОТВОРЕНИЯХ ОСИПА МАНДЕЛЬШТАМА:

Ирина Сурат. Слово «любить»; Борис Заславский, Олег Заславский. Вечный трамвай; Виктор Есипов. «Я тяжкую память твою берегу...»	169
--	-----

РЕЦЕНЗИИ. ОБЗОРЫ

Анатолий Рясков. Хранилище неназванного (Михаил Богатов. Имя твое)	185
Н. А. Богомолов. Уходя в историю (Надежда Мандельштам. Собрание сочинений)	187

СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

КНИЖНАЯ ПОЛКА ЛЬВА ОБОРИНА	191
КИНООБОЗРЕНИЕ НАТАЛЬИ СИРИВЛИ	201
ДЕТСКОЕ ЧТЕНИЕ С ПАВЛОМ КРЮЧКОВЫМ	207

ЮБИЛЕЙ

КОНКУРС ЭССЕ К 125-ЛЕТИЮ ОСИПА МАНДЕЛЬШТАМА	211
---	-----

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ЛИСТКИ

Книги (составитель Сергей Костырко)	222
Периодика (составитель Андрей Василевский)	226
SUMMARY	240

В 2016 году на журнал можно подписаться в редакции с любого месяца по цене 330 руб. за 1 экз; стоимость подписки на полугодие 1980 руб. (для РФ).

Подписка оформляется напрямую в редакции, где вы можете воспользоваться льготными предложениями и выбрать любые номера, включая те, на которые подписка на почте не оформляется.

Для оформления подписки через редакцию нужно сделать заказ по электронной почте или по факсу. В заявке следует указать:

- полное название организации (для юридического лица) или Ф.И.О. (для физического лица)
- точный почтовый адрес (с обязательным указанием почтового индекса)
- контактные телефоны, факс или адрес электронной почты (для отправки счета)
- для юридических лиц — реквизиты для оформления бухгалтерских документов (ИНН, КПП, юридический адрес)

При получении заказа вам будет направлен счет. После его оплаты вы будете получать журналы почтовой бандеролью по мере их выхода из печати (с приложением необходимых бухгалтерских документов). По желанию подписчика возможно получение журналов в редакции.

Тел./факс: 7 (495) 650-62-13 / 7 (495) 694-08-29

Эл. почта: zakazinovimir@mail.ru / Сайт: nm1925.ru



В 2016 году «Новый мир» выходит при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

ПАВЕЛ НЕРЛЕР



В МОСКВЕ

(Ноябрь 1930 — май 1934)

В СТАРОСАДСКОМ, НА ПОЛЯНКЕ, НА ПОКРОВКЕ

(Ноябрь 1930 — январь 1932)

Снова в «буддийской Москве»

В середине ноября 1930 года Мандельштам вернулся — «...нет — считай: насильно / Был возвращен в буддийскую Москву» (3, 56)¹. И не потому ли в «буддийскую», что разнообразье лиц с «необщим выраженьем» постепенно исчезало, уступая унифицированным, словно статуэтки Будды, штамповкам?

Далеко позади и «Битва под Уленшпигелем», и «Четвертая проза». Физическое путешествие в Армению, казалось бы, смыло, словно пузырчатые струи Арзни, всю оскомину и обиду без остатка.

Мало того, стихи, нахлынувшие на Кавказе, все не иссякали и все ширили свой формат. Вдогонку завершеному 5 ноября циклу («Армения») накатила новая — дактилическая — волна и принесла на гребне еще и еще стихи — «Дикая кошка — армянская речь...», «И по-звериному воет людье...».

Но, пусть и окрыленные Арменией и возвращением стихов, Мандельштамы вскоре вновь оказались в хорошо знакомой среде — в торичеллиевой пустоте бездомности и безбытности.

За восьмимесячное отсутствие в Москве многое изменилось: год коллективизации боевым слоном прошагал по стране, топча посевы и давя судьбы. В Армении, не входившей в главную зону сплошной коллективизации, эта поступь ощущалась несравненно слабее². Ну а столица — она и была поневоле тем самым слоном.

В первый же день по возвращении из Тифлиса, когда к вечеру захотелось есть, вдруг оказалось, что ни в одном магазине вокруг Старосадского ничего, кроме цикорийского кофе «Здоровье», нет (НМ, 2, 538). Взлетели цены, а карточно-распределительная система становилась все тотальной и все жестче. Если в конце 1928 года по карточкам выдавался только хлеб, то в конце 1930 года так распределялись уже большинство продуктов питания и промтовары. Карточки отоваривали через закрытые распределители, через закры-

¹ В круглых скобках в тексте приводятся ссылки на следующие источники: Мандельштам О. Собрание сочинений в 4 томах. М., «Арт-Бизнес-Центр», 1993 — 1997 (том и страницы арабскими цифрами); Мандельштам О. Полное собрание сочинений и писем в 3 томах. М., «Прогресс-Плеяда», 2009 — 2011 (том — римскими цифрами, страницы — арабскими); Мандельштам Н. Собрание сочинений в двух томах. Редакторы-составители: С. В. Василенко, П. М. Нерлер, Ю. Л. Фрейдин. Екатеринбург, «Гонзо» (при участии Мандельштамовского общества), 2014 (НМ, том и страницы арабскими цифрами); Герштейн Э., Мемуары. СПб., «ИНАПРЕСС», 1998 (ГЭ, страницы арабскими цифрами).

² Мандельштам столкнулся с ней впервые лишь в конце путешествия, в Аштараке.

тые рабочие кооперативы и через отделы рабочего снабжения. Выдавались карточки сугубо по заслугам, так что у большинства населения, в частности у крестьян и лишенцев (то есть лиц, лишенных политических прав), карточек и быть не могло.

15 ноября в «Правде» и в «Известиях» (случай нечастый!) была опубликована статья М. Горького «Если враг не сдается — его уничтожают». Разве можно не вздрогнуть, читая: «Против нас все, что отжило свои сроки, отведенные ему историей; и это дает нам право считать себя все еще в состоянии гражданской войны. Отсюда следует естественный вывод: если враг не сдается, — его истребляют». Каждый примерял это на себя и недоумевал: «отжил» ли он «свой срок» или еще нет?

Очень скоро было продемонстрировано, что это не пустые слова. 25 ноября начался и 7 декабря закончился процесс над «ЦК Промпартии» — второе и более широкое издание регионального «шахтинского дела» 1928 года. Эта липовая Промпартия была сварганена для того, чтобы перевести стрелки и переложить вину за провалы в промышленности — и, как следствие, за шахтерские забастовки — с ВКП(б) и рабочих на вредителей-инженеров. «ЦК» возглавлял директор Всесоюзного теплотехнического института профессор Леонид Константинович Рамзин. Допросы сломали его, и он активно оговаривал и себя, и других. Пятеро, и в том числе он, получили «вышку», милосердие замененную десятью годами тюрьмы. По делу «Промпартии», вместе с его отраслевыми «веточками», прошло около 2000 человек. Как постановщики ни старались, но не уловить сфабрикованность процесса и всю кукольность «Промпартии» было нельзя.

Вернувшись, Мандельштамы нанесли визит и на Старую площадь — поблагодарить товарища Гусева³ за покровительство. Поэт не придумал ничего лучшего, как поделиться с ним — на фоне суда над Промпартией — впечатлениями от дела Ломинадзе и рассказать о слежке и шпиках: «...он выслушал нас с каменным лицом. Такие каменные лица умели делать только советские чиновники. Оно означало: „откуда я знаю, как вы попали к врагу народа и какие основания были у грузинских товарищей для слежки...” <...> На эпизоде с Ломинадзе опека Гусева над О. М. кончилась...» (НМ, 1, 259).

Впрочем, и «опека» Гусева кончилась не совсем: и телефон, и знакомство сохранились и Мандельштам еще несколько раз встречался с ним. Один раз — после выхода в «Новом мире» (1932, № 6) подборки стихов, среди которых был и «Рояль». Гусев тогда пожурил: «Вот Павленко (напечатанный в том номере, где стихи) растет, а вы что? Что это за „земная груша”?» (НМ, 2, 688)⁴. Другой — в конце лета 1933 года, — когда попытался защититься от нападков на «Путешествие в Армению». Он просил Гусева оградить его от «желтой прессы», начисто забыв, что «нападки»-то — из «Правды»!

«Бэст» в «Заячем Ремизе»

Но, как и перед отъездом на Кавказ, жить в Москве было негде. Можно было только кантоваться, что Мандельштамы и сделали, пожив немного на Старосадском у Шуры и еще с неделю у Эммы Герштейн на Щипке.

Мандельштамы между тем решили поискать счастья на берегах Невы. С путевкой ЦЕКУБУ в дом отдыха «Заячий Ремиз» в Старом Петергофе в кармане они уехали в Ленинград. В сущности, эта путевка была не более чем

³ Гусев Анатолий Николаевич (1899 — 1939) — сотрудник Отдела агитации (с 1930 года — «культуры») и пропаганды ЦК ВКП(б) с февраля 1929 года по январь 1933 года.

⁴ По примечаниям А. Морозова в кн.: Мандельштам Н. Я. Вторая книга. М., «Согласие», 1999, стр. 695.

талонном на четырехнедельное «сидение в „бэсте”⁵»⁶ — отсрочкой перед наступлением полной неизвестности и извечного рефрена: «и некуда деться!..»

Перед отъездом Мандельштам занес в «Новый мир» подборку своих стихов — цикл «Армения». Тогда же он обратился в жилкомиссию горкома писателей, и та постановила: комнату ему (видимо, если таковая освободится) — предоставить. Но в январе 1931 года, после возвращения поэта из Ленинграда, та же жилкомиссия пересмотрела свое решение.

Невский залив ждал их к 7 декабря, и на несколько дней они остановились на 8-й линии у младшего брата Жени. Встретились с Ахматовой и первым делом ее «переименовали» — в Ануш. Это имя — как бы армянизированная версия «Анны» — мгновенно к Ахматовой приросло, и порой она потом так и подписывалась в письмах Надежде Яковлевне: «Ануш». А Мандельштаму оно ласкало слух тем, что напоминало об Армении, мечтать о которой он отныне не переставал (НМ, 1, 843).

Здесь же, в «Заячьем Ремизе», и самого Мандельштама нашло весьма неожиданное письмо — датированное 28 декабря обращение ленинградских поэтов: «Дорогой Осип Эмильевич! Все мы, ленинградские поэты, объединяемые Секцией Поэтов ВССП, были свидетелями той, печальной памяти, истории, которая в свое время вызвала справедливое Ваше негодование и следствием которой был Ваш уход из литературы. В то время мы не смели просить Вас не делать этого шага, потому что и сами в полной мере разделяли Ваше негодование. Все мы, однако, остро ощущали Ваше молчание. Молчание одного из лучших поэтов СССР в эпоху напряжения всех творческих сил страны не может не отразиться на самой советской поэзии, не может не обеднить ее. // Мы полагаем, что в реконструктивный период страны каждый гражданин СССР должен преодолеть всю личную боль, нанесенную ему тем или иным фактом, и во имя Коммунистической Революции все свои силы отдать творческой, созидательной работе. // Узнав о Вашем возвращении в Ленинград, мы обращаемся к Вам с призывом — вернуться в ряды тех, кто своим творчеством строит Советскую Поэзию. Не потому, что мы или Вы забыли о причинах, побудивших Вас выйти из этих рядов, а потому, что Советская Поэзия нуждается в Вас»⁷.

Трогательно и наивно. Самой просьбе вернуться в ряды советской литературы поэт внял, но, как еще увидим, только отчасти.

Отсюда же, из «Заячьего Ремиза», были написаны и отосланы письма Надежды Мандельштам наверх — вождям-покровителям (к ним мы еще вернемся).

Ну и наконец, здесь же, у залива, продолжались стихи. И «Ленинград» («Я вернулся в мой город...») с его «декабрьским желтком», и январское «С миром державным я был лишь ребячески связан...», завершенное уже в Ленинграде.

На Восьмой линии у Жени

Новый, 1931, год встречали, видимо, у своих на Васильевском, на 8-й линии. Здесь же они оставались и еще несколько дней по истечении срока путевки: в писательском доме на канале Грибоедова как раз освобождалась комната, и Мандельштам попробовал «зацепиться» за нее. Но Ленинград устами Николая Тихонова в крыше над головой отказал. Отказал твердо и жестко,

⁵ Бэст — *от перс.* «bāst» — место, дающее всякому преследуемому право временной неприкосновенности. Например, мечеть или иностранное посольство, не скрытое, но недоступное убежище.

⁶ Два письма Н. Я. Мандельштам [В. М. Молотову и А. П. Коротковой, оба — конца 1930]. — В сб.: «Память». Исторический сборник. Нью-Йорк, «Khronika-Press», 1978. Вып. 1, стр. 302 — 307.

⁷ Осип Мандельштам в записях дневника и материалах архива П. Н. Лукницкого. — «Звезда», 1991, № 2, стр. 127.

причем не только в комнате, но и в самом праве на нее: «Мандельштам в Ленинграде жить не будет. Комнату мы ему не дадим...» (НМ, 1, 322).

Такой афронт с привкусом железной окончательности плохо согласуется с предшествующими и даже последующими отношениями Мандельштама и Тихонова, но после такого отказа стало как-то не по себе. В вакуум, в торричелиеву пустоту словно добавили немного жидкого металла — ртути...

Каплю «ртути» добавил от себя и Женя. Сначала он фактически выставил Надю, которой пришлось перебраться к ее старшей сестре Ане, а затем потребовал от Осипа соучастия в семейном быте: чтобы разгрузить прислугу, ему надлежало ходить в литфондовскую⁸ столовую за обедами для всей семьи. Он закатил скандал, когда в прочитанных братом стихах вдруг узнал и «лестницу черную» в *своем* подъезде, и «вырванный с мясом звонок» *своей* квартиры: он кричал, что он и его жена — настоящие советские люди и что *такие* стихи для них — мерзость.

Младшего сына, возможно, поддержал и старик-отец. Извиняясь перед отцом за какую-то свою «глупую и грубую выходку», Ося добавлял о брате: «А с Женей у меня плохо. Очень, очень плохо. Он сильно виноват. Ему — стыд» (4, 138).

Иными словами, отщепенство и изгойство отныне поселились и в семейном тылу!

Осип захотел немедленно уехать в Москву, но тут неожиданно и тяжело заболела Надя: пришлось задержаться еще на несколько дней. За день до отъезда он пишет (sic!) записку брату и кладет ее на обеденный стол: «Убедительно прошу не волновать Над^южду» Як^{ов}левну», у которой *сейчас и все дни жар* и которую я вынужден был положить в спокойной и сухой комнате. В маленькой — *зверская сырость, в столовой ты разбудишь* и не дашь заснуть больной. // Уезжая завтра, остаемся последнюю ночь на старом месте, чтоб не переносить кровати» (4, 139).

Так что, возможно, и Осипу 40-летие отмечалось здесь же, на 8-й линии, — вместе с отцом. Или, скорее всего, демонстративно не отмечалось!

Тогда-то, видимо, и пришли стихи прощания со «знакомым до слез» городом: «С миром державным я был лишь ребячески связан...» и «Мы с тобой на кухне посидим...». Как и строки: «В Петербурге жить — словно спать в гробу...» — настоящее пророчество о 37-м годе, когда под дудку «писательского заговора» под руководством оставшихся при этом невредимыми Тихонова и Эренбурга уведут и расстреляют ближайших друзей — Лившица, Стенича, Выгодского и еще многих других!⁹

На Старосадском у Шуры

Вернувшись в Москву, Мандельштамы и здесь расселились «по-братски»: Осип Эмильевич у своего брата Шуры — в Старосадском, а Надежда Яковлевна у своего — Жени, на Страстном. Если кто-то из хозяев вдруг уезжал в командировку или в отпуск, то на это время съезжались: в мае — у Жени, в июне — у Шуры.

У Шуры — это в квартире № 3 доходного дома № 10 по Старосадскому переулку. Она находилась на втором этаже, куда вела широкая парадная лестница с лепниной на стенах и решеткой под перилами.

В самой квартире в разное время проживало от 9 до 12 семей: классическая коммуналка. Большой и длинный коридор вел от входной двери к «центру», отмеченному телефоном на стене и развилкой: вперед вел сужающийся малый коридор с ванной по правую руку, а направо, минуя дверь в туалет, широкий проход собственно в кухню, где шипело и фыркало 16 примусов.

⁸ Е. Э. Мандельштам в это время работал в Литфонде, что автоматически делало эпицентром писательского внимания именно его.

⁹ Сам Мандельштам также будет фигурантом этого дела, но не будет привлечен, так как после ссылки в Воронеж числился за Москвой.

По бокам большого коридора и по левой стене малого теснились комнаты: Хашеватских¹⁰, Каца, Ильиных, Рабкиных¹¹, Буравилов, Кирсановой, Мандельштамов, Беккерманов и Айзенштадтов (две комнаты). Этот список, составленный по данным А. А. Мандельштама, неполон. По данным Р. Л. Сегал, в него следует добавить еще несколько имен: семью ее отца — Гольдмана¹², семью Цирловых¹³, семью Толокновых (муж — чекист, жена — Вера Павловна — портниха, дочь — Инна), сестер Змеевых (одна из них была художницей) и братьев Гольдбергов¹⁴.

17-метровая Шурина комната была третьей слева от конца коридора, почти напротив прохода в кухню и телефона. Было в ней одно окно, смотревшее на тупичок между домом и сквериком на подпорной стенке, загораживавшим Ивановский спуск¹⁵. Мебель сплошь «приблудная», не покупная: кровать, диван, фанерный платяной шкаф, обеденный стол и большое кресло — вот вся ее обстановка. Если приезжал Осип — один или с Надей, то его или их царством был диван, в чреве которого лежали отцовские рукописи, а если из Ленинграда приезжал отец, Эмилий Вениаминович, то комнату перегораживали и он жил как бы «в своем углу»¹⁶.

Одной из юных соседок, 10-летней Раечке Сегал, дядя Шура запомнился «высоким, болезненно худым человеком со спокойным и милым характером»¹⁷. Запомнила девочка и его старшего брата, поэта, — небольшого роста, в нелепом топорщащемся пиджаке и со смешными, оттопыренными ушами, вечно дымящего папироской и все порывавшегося с кем-нибудь заговорить в огромном общем коридоре, куда выходили покурить соседи, где играли дети и стоял телефон. Номера тогда были еще пятизначными: 4-80-76¹⁸.

Запомнил дядю Осю и тетю Надю и маленький Шурик. С их появлением сразу же становилось шумно. Тетя Надя, насмешливая и саркастичная, учила племянника английскому языку. И всем запомнилось, как много Мандельштам говорил по телефону.¹⁹

Теснота каморки-пенала на Старосадском преодолевалась только одним — гибкостью во времени. Осип засыпал (а то и приходил, засидевшись у того же Яхонтова) далеко за полночь, когда брат с невесткой уже крепко спали. И тогда —

После полуночи сердце ворует
 Прямо из рук запрещенную тишь.
 Тихо живет — хорошо озорует,
 Любишь — не любишь, ни с чем не сравнишь...

¹⁰ Еврейский поэт Моисей Хашеватский фактически здесь не жил: в комнате проживали его разведенная жена Сарра Хашеватская с сыном Марком.

¹¹ Сотрудник идишской газеты «Дер Эмес» («Правда»).

¹² Сегал Р. Л. Из воспоминаний. — В сб.: «Сохрани мою речь...» Вып. 2. М., «Книжный сад», 1993, стр. 27 — 28. Сама Раиса Сегал была дочерью Леона Исааковича Гольдмана, видного бундовца и меньшевика (партийная кличка «Аким»), арестованного в 1938 и расстрелянного в 1939.

¹³ Иосифа Павловича Цирлова арестовали в середине 1930-х (вероятно после убийства Кирова), а семью выслали.

¹⁴ См. об этом, с ее слов: Видгоф Л. «Но люблю мою курву-Москву» (Осип Мандельштам: поэт и город). Книга-экскурсия. М., «АСТ», 2011, стр. 189.

¹⁵ Если смотреть от современного памятника или с улицы Забелина на окна третьего (считая полуподвальный) этажа, то Шурино окно — четвертое, считая от левого угла дома (учитывая и слепое окно).

¹⁶ Когда родился маленький Шурик, то здесь же помещалась еще и домработница.

¹⁷ Сегал Р. Л. Из воспоминаний, стр. 27 — 28.

¹⁸ Номер уточнил Л. Видгоф, заметивший при этом: «Странное и томительное чувство испытываешь, когда читаешь номер телефона, по которому можно было позвонить Мандельштаму. Кажется, можно набрать номер — и зазвонит телефон в коридоре коммуналки» (Видгоф Л. Москва Мандельштама. М., «ОГИ», 2006, стр. 111).

¹⁹ Тут, правда, у Мандельштама был серьезный конкурент — один из братьев Гольдбергов, душевнобольной: он утверждал, что разговаривает с наркомом Луначарским.

То были сладкие и вдохновительные часы. Если стихи приходили, то Осип, боясь забыть, записывал их при свете ночника. Назавтра, при дневном свете стихи выходили короткими и «узкими» (малостопными, например, «Я скажу тебе...»). Утром он вставал поздно, когда все уже разбежалось по службам, полдня торчал в коридоре и висел на коммунальном телефоне, добиваясь работы и крыши над головой.

Наговорившись, он пил чай, брал свою трость с белым набалдашником²⁰ и уходил в город: «Мы были подвижными и много гуляли, — писала Надежда Яковлевна. — Все, что мы видели, попадало в стихи: китайская прачечная²¹, куда мы отдавали белье, развал, где мы листали книги, еще не покупая из-за отсутствия денег и жилья, уличный фотограф, щелкнувший меня, Мандельштама и жену Шуры, турецкий барабан и струя из бочки для поливки улиц» (НМ, 2, 539 — 540).

Фотография сохранилась. Не каждой фотке Осип Эмильевич «посвящал» стихи, хотя бы и шуточные, а этой посвятил:

Шапка, купленная в ГУМе
Десять лет тому назад,
Под тобою, как игумен,
Я гляжу, стариковат.

А когда Шура с Лелей уехали 23 мая на месяц или больше на юг, а Осип с Надей поселились у них вдвоем²², то «пиршество продолжалось уже не только по ночам, но и днем, а стихи стали длиннее — они уже не спрессовывались ночным бдением» (НМ, 2, 538). Поэтическая река как бы вырвалась из узкого ущелья на равнинный простор, и пошли тогда стихи долгого дыхания, в том числе и знаменитые белые стихи.

...То усмехнусь, то робко приосанюсь
И с белокурой тростью выхожу:
Я слушаю сонаты в переулках,
У всех ларьков облизываю губы,
Листаю книги в глыбких подворотнях,
И не живу, и все-таки живу.
Я к воробьям пойду и к репортерам,
Я к уличным фотографам пойду,
И в пять минут — лопаткой из ведерка —
Я получу свое изображение
Под конусом лиловой шах-горы.

<...>

И до чего хочу я разыграться —
Разговориться — выговорить правду —
Послать хандру к туману, к бесу, к ляду, —
Взять за руку кого-нибудь: будь ласков, —
Сказать ему, — нам по пути с тобой.

Повсюду на улицах слетались и разлетались стихийные летучие базарчики. Надя покупала на них немного муки и постного масла и пекла оладьи, а Осип, знавший толк и в пирах, уплетал их, не привередничая. И философствовал: «...чем больше препятствий для стихов, тем лучше — ничего лишнего не напишешь...» (НМ, 2, 537 — 538).

В результате — «идиллическая жизнь на Старосадском не омрачалась ничем, меньше всего заботой о будущем» (НМ, 2, 539).

²⁰ Она появилась у Мандельштама тогда (скорее всего — весной), когда, по словам Э. Герштейн, у него «начались головокружения и одышка на улице» (ГЭ, 22).

²¹ Она была на Варварской площади (НМ, 2, 727).

²² Перед этим две майских недели, в которые Елена Михайловна Фрадкина была в командировке, Мандельштамы прожили втроем с Евгением Яковлевичем Хазиним в комнате на Страстном бульваре.

Письма вождям

Вместе с тем положение с жильем и в Москве было аховым. Не пахло и службой, одним словом: Мандельштамы — нищие и бомжи.

И все-таки в плане жизненных возможностей и упований сравнение с Ленинградом — решительно в пользу Москвы: «Мы здесь не так одиноки, как в Ленинграде. С людьми водимся, к себе пускаем тех, кто нам мил или интересен, и в гости выходим...» (4, 142).

Нашлись в столице и высокие покровители — вне литературы²³.

Напомню: в «Заячем Ремизе» письма писались не только Изе Ханцин, но и «начальству»: Молотову и Бухарину. Шли они не от имени поэта, а от имени его жены. И писала их она тоже сама.

«Уважаемый тов. Молотов! <...>

Основная беда в том, что Мандельштам не может прокормиться чисто литературным трудом — своими стихами и прозой. Скупой и малолистный автор, он дает чрезвычайно малую продукцию. Последнюю свою прозаическую вещь, изданную в 28 году Гизом, — он писал около 2 лет (1½ листа). Полное собрание Мандельштама — плод двадцатилетней работы — расцененное издательской бухгалтерией по листу и построчно, дало ему несколько лет назад 1.500 р.

Так, литературный гонорар, являлся в сущности случайным, а жил Мандельштам переводами. Более ядовитой профессии для писателя, особенно для стихотворца, нельзя себе представить. <...> Борьба за существование отнимала все силы и на моих глазах в течение многих лет разрушала человека.

Сейчас к переводам возврата нет — мы предпочтем любой исход прежней лямке.

После тяжелого жизненного кризиса, после перенесенной болезни, Мандельштам — пожилой и утомленный человек — очутился у разбитого корыта.

У него нет профессии, которая бы его обеспечила, нет жилья, ничего нет... То, что он умеет делать, никак не котируется на трудовой бирже. А в любом учреждении не решатся принять на работу лирического поэта, да к тому же с ярлыком правого попутчика. <...>

Вопрос о работе Мандельштама — это вопрос принципиальный и он должен быть разрешен раз и навсегда.

В сущности, речь идет о праве Мандельштама на жизнь: нужно или не нужно сохранить Мандельштама? <...>

Второй вопрос квартирный. Все эти годы у нас не было средств, чтобы купить себе квартиру. Уезжая в Армению, мы потеряли свое жилье и остались буквально на улице. Та работа, на которой может быть использован Мандельштам, не может дать ему квартиры. Нигде, ни в одном городе нельзя получить жилплощади. Мандельштам оказался беспризорным во всесоюзном масштабе.

Но существует же какой-то жилищный фонд, и нужные люди у нас не остаются на улице. Один раз нужно счесть не спеца таким человеком, а поэта, чтобы он не метался из города в город, ища пристанища. Если это невозможно в Москве, то нужно устроить Мандельштама хотя бы в одном из южных городов. <...>

Если раз навсегда не устроить Мандельштама, то каждый год его будет загонять в тупик и роскошные санатории будут чередоваться с настоящим бродяжничеством.

Тяжелая жизнь лирического поэта, конечно, не в диковинку, но близкому человеку — жене — не под силу смотреть, как разрушается жизнеспособный человек, в самом разгаре творческих сил. <...>²⁴

Отдадим должное не только обстоятельности, но и логичности этого анализа. Ну разве не убедительно? Скупой, малолистный автор, мастер, не может

²³ О них Мандельштам писал в середине месяца отцу (4, 142). Имен он не называл, но нетрудно догадаться, что это Бухарин или те, к кому Бухарин обратился.

²⁴ Два письма Н. Я. Мандельштам, стр. 302 — 307.

себя прокормить, а переводы, которыми прокормиться было бы можно, губительны для его таланта. Тупик? — Тупик!

Но анализ этот, безусловно, лукав. Дело ведь не столько в лапидарности мастера, сколько в самих его текстах. Советской литературе они были решительно не нужны и ею не востребованы, что прекрасно и уже давно понимал и сам Мандельштам: «...приношу ей дары, в которых она пока не нуждается» (2, 496). Даже с социальным заказом Лежнева — простеньким мемуарцем о старорежимном еврейском детстве, униженном и оскорбленном, — О. М. не справился и написал вместо заказанного «плача племени» — никем не санкционированный и государством не востребованный «Шум времени».

Разумеется, лукавство такого анализа было понятно и тем, к кому поэт обращался за помощью. И рассчитывать можно было только на помощь такого покровителя и защитника, который на все это сознательно закрывал бы глаза.

И именно таким был Николай Иванович Бухарин.

Мандельштамы не ограничились столь логичным письмом Молотову, а обратились опять — и через все ту же белочку-секретаршу²⁵ — к Бухарину, приложив копию письма Надежды Яковлевны Молотову к следующей записке:

«Милая тов. Короткова!

Вот уже две недели, как мы в Ленинграде, но ничего у нас не выклеилось; Мандельштам постепенно приходил в весеннее состояние, жить было негде, деваться некуда, денег не было. Все попытки самостоятельного устройства рвались, как мыльный пузырь: мне, пожалуй, было б легче, чем Мандельштаму, но его устроить почти невозможно. После всего, что он пережил, нужна спокойная работа академического характера, человеческие условия жизни, жилье и т. д., но здесь нужно чье-то решительное вмешательство. На эти виды работы приглашают, а не сами предлагают свои услуги. Иначе вместо академического устройства выходит техническая мелкая работа, которая абсолютно не оплачивается. Пробовала я обращаться к писателям. Они взволнованно выслушивают, жмут руки, сочувствуют, бухтят, но неспособны перейти через улицу не за своим гонораром. Чтобы чего-нибудь от них добиться, мне пришлось бы ходить за ними по пятам и нудить. Да они ничего и не могут, т. к. варятся в собственном соку. Я наговорила с ними досыта и махнула рукой. Кроме того — вопрос с квартирой для них неразрешим. У них нет никаких возможностей. Получить квартиру невозможно. <...>

Единственное, что я могла сделать — это лично от себя написать Гусеву и Молотову. Буду ждать ответа... Дождусь ли.

Я прилагаю копию к письму Молотову, и знаю, что единственный исход — это серьезное вмешательство в судьбу Мандельштама. Вмешательство Гусева было, к несчастью, недостаточным: предоставили возможность очухаться, а потом бросили обратно в омут; залечили, но причины болезни не устранили.

Это, конечно, обычно и естественно, что жизнь стихотворца складывается безнадежно тяжело. Так издревле полагается. Лирическая поэзия — товар ненужный, а права на вторую профессию в середине жизни получить нельзя. Во всяком случае, сейчас у нас окончательно выбита из-под ног почва. Но лучше не думать о том, что будет дальше...»²⁶

Скорее всего, именно эта записка и послужила детонатором всех тех усилий и хлопот, которые Бухарин снова предпринял ради Мандельштама, хлопот по всем направлениям — жилищному (квартира), издательскому (собрание сочинений), продуктовому (паек) и даже денежному (персональная пенсия).

Замечу, что 1931 год — отнюдь не пик в карьере самого Бухарина. Первая угроза опалы была, правда, позади, и в это время он еще оставался членом ЦК ВКП(б), был членом ВСНХ и заведующим его научно-техническим управлением, а с 1932 года — членом коллегии Наркомата тяжелой промышленности СССР. С 1930 года он председатель Комиссии по истории знаний

²⁵ Короткова Августа Петровна (1899 — 1998) — секретарь Н. Бухарина.

²⁶ Два письма Н. Я. Мандельштам, стр. 302 — 307.

(КИЗ), с 1932 года директор образованного на основе КИЗ Института истории науки и техники АН СССР. Был он и главным редактором, но не «Правды» и не «Известий», а всего лишь научно-популярного и общественного журнала «Социалистическая реконструкция и наука».

В садах Халатова-халифа

Главным приводным ремнем всех этих хлопот²⁷ был Халатов. Как и в 1927 году, Бухарин препоручил Мандельштама именно ему, директору Госиздата.

Арташес (Артемий) Багратович Халатъян (Халатов) был на три года моложе своего подопечного. Он родился в Баку 15 апреля 1894 (или 1896) года, а умер (расстрелян) 27 октября 1938 года. Со студенческой скамьи революционер-марксист, после революции он быстро пошел в гору. При этом имел высокий ранг и четкое, с дореволюционной поры, амплу: продовольствие и транспорт. В 1921 — 1931 годах возглавлял еще и ЦЕКУБУ (Комиссию по улучшению быта ученых при СНК СССР), и противоречия тут нет: правильной интеллигенции надо же не дать умереть с голоду и холоду! Все мандельштамовские путевки в Узкое, Болшево, «Заячий Ремиз», как и эпизодически возникавшие, а потом пропадавшие пайки, — все это попечением халатовского ЦЕКУБУ, в сочетании с Литфондом или без оно.

Но с середины 1927 года Халатов был брошен на совершенно новый для себя участок — на культуру и издательское дело. Вплоть до самого конца 1932 года он член коллегии Наркомата просвещения и председатель правления Госиздата и ОГИЗ²⁸ РСФСР, в каких-то качествах сыграл отнюдь не последнюю роль в усилении цензуры и идеологизации литературы²⁹. (Между прочим, и ликвидатор горьковской «Всемирной литературы».)

Самый первый контакт Мандельштама с Халатовым состоялся, по видимому, в середине августа 1927 года и заочно. 10 августа датированы две «приватные» записки Бухарина: одна Халатову — с аттестацией Мандельштама как поэта и с просьбой принять его на несколько минут, а другая — самому поэту (с извинениями за проволочки) (4, 95 — 96).

Мандельштам, бывший в Москве лишь проездом, видимо, не дождался этой рекомендации и уехал к жене в Ялту. Бухарину же, очевидно, стало неловко, что записки застряли в его секретариате, и он сам позвонил Халатову. После чего тот, как новоиспеченный глава советского книгоиздания попросил Мандельштама — может быть, через Нарбута — письменно изложить все перипетии прохождения его «Стихотворений» в Госиздате. В письме от 1 сентября 1927 года поэт изложил ситуацию с книгой в ее динамике (4, 95 — 96). При этом он явно еще не знал, что вопрос о книге Халатовым уже решен и решен положительно — в чем наверняка велика заслуга и бухаринской просьбы³⁰.

Выглядел Халатов более чем импозантно: корпулентный, с окладистой иссиня-черной ассирийской бородой и восточными искорками в глазах. Ну чем не халиф?

²⁷ Кроме, быть может, квартирных, окончившихся к тому же ничем. Надеюсь именно на эту помощь, Мандельштам не обращался с этим в писательские организации вплоть до октября 1931 года.

²⁸ Объединенное государственное издательство.

²⁹ Это задание партии избавило его как специалиста по продовольствию и питанию от личного участия в раскулачивании. Но вплоть до кануна коллективизации он немного занимался и старым любимым делом — председательствовал в товариществе «Нарпит» («Народное питание») и ректорствовал в двух институтах — инженеров транспорта (будущий МИИТ) и народного хозяйства (будущей Институт народного хозяйства имени Плеханова).

³⁰ Соответствующий договор датирован 18 августа и явно еще не попал в руки автора. Книга вышла в мае 1928 года.

Зане в садах Халатова-халифа
 Дух бытия.
 Кто не вкушал благоуханий ЗИФа —
 И он, и я.

И для того, чтоб слово не затихло
 Сих свистунов,
 Уже качается на розе ГИХЛа —
 В. Соловьев.

Под «бытием» тут понимается отнюдь не ветхозаветная классика, а писательская кормушка ЦЕКУБУ, но коллизия («сюжет») несколько тоньше. Обгрызается не просто основание ГИХЛа, возникшего 1 октября 1930 года в результате дружественного (а какого еще?) поглощения бывшего нарбутовского ЗИФа литературно-художественным сектором Госиздата, а его первый кризис. Это кризис писательской «неликвидности» в марте 1931 года, когда авансы были уже щедро розданы, но розданы «свистунам», от каковых рукописей их книг все нет и нет, так что издательству, будь это при капитализме, впору было банкротиться³¹.

Одним из бенифициаров такой авторолюбивой «политики» был и сам Мандельштам. Зимой (вероятней всего — в середине февраля) он заключил с ГИХЛ договор № 79/Х на издание собрания своих сочинений. Согласно договору, Мандельштам должен был получить 40-процентный аванс, но получение было обставлено рядом условий, одним из которых было отсутствие задолженности перед Госиздатом.

Отсюда — просьба к младшему брату в письме от 11 мая взять в ленинградском отделении ГИЗа справку о состоянии личного авторского счета О. Э. Мандельштама, необходимую для выплаты 40% (а это примерно 1500 рублей) за собрание (4, 139 — 140). Следующий шаг (справка, видимо, уже получена): 8 июня Мандельштам подал заявление в правление ГИХЛ, тов. Шендеровичу³², о выплате 500 рублей в счет 40% по договору 79/Х с ленинградским правлением ГИХЛ³³ (4, 143).

Эти шаги делают понятным смысл визита Мандельштама к Халатову 19 сентября 1931 года, когда он зашел в приемную Халатова и передал ему через секретаря следующую записочку: «Москва, 19 сентября 1931 г. // Уважаемый Артемий Багратович. // Прошу вас меня принять хотя бы на 2—3 минуты. Вы сделали для меня очень много. Но деньги (приходится это сказать) по-прежнему для меня недоступны. На дворе осень. Меня скрутило. Если принципиальный вопрос затягивается, — я хочу вам предложить одну <...>» (4, 144). И на этом же листке Халатов ему начертал: «т. Мандельштам: 1) сегодня не смогу 2) давайте завтра, обязательно с утра. 19/IX. А. Халатов».

Н. Я. Мандельштам так писала о материальной и продуктовой (пайковой) сторонах их тогдашней жизни: «Возвращение к стихам привело к чувству единения с миром, с людьми, с толпой на улицах... Это блаженное чувство, и нам чудесно жилось, но я не понимаю, откуда брались деньги даже на эту собачью жизнь. Вероятно, Бухарин уже устроил продажу двухтомника с ежемесячной крохотной выплатой. Денег, во всяком случае, хватало на чай и олады, но мы не по-

³¹ См. запись в дневнике В. П. Полонского от 12 марта: «В. И. Соловьев — мрачен. Пришли те дни, которые я ему предсказывал. В ГИХЛе — прорыв, т. е. безалаберщина, разгильдяйство, глупое управление, незнание литературы, рвачество, создавшееся в недрах самого издательства, — все, что привело к скандалу: миллионы денег розданы по рукам, сотни договоров — а книг нет. А то, что есть — хлам. Всеобщий вопль: прорыв!..» («Мне эта возня не кажется чем-то серьезно литературным...») (Из дневника Вяч. Полонского. Март — апрель 1931 года). Публикация И. И. Аброскиной. — «Встречи с прошлым». Вып. 9. М., «Русская книга», 2000, стр. 288 — 289).

³² Шендерович Моисей Осипович — зам. председателя правления ГИХЛ.

³³ А. Г. Мец полагает, что у этого заявления административного хода не было (Ш, 869). Допустим. Но значит было другое, аналогичное, ибо вопрос был для поэта сугубо экзистенциальный.

толстели, потому что муки было слишком мало. Острее чувствовался недостаток сахара. Мы получали немножко по карточкам и чай пили вприкуску. <...> Вскоре Халатов зачислил Мандельштама на паек в магазин с народовольцами и заставил писателей каждые три месяца заново включать нас в пайковый список, и мы стали получать кроме килограмма на карточки еще по три кило сахара в месяц. Это уже богатство. Зато хлеба нам всегда хватало — на писательскую карточку выдавали много хлеба, как на рабочую, граммов с восемьсот» (НМ, 2, 540).

«Шерри-бренди», «Волк» и охотники

Март 1931 года — это несколько сильнейших творческих вспышек: и в самые первые дни месяца, и в середине, и в конце.

В новых стихах возникает и постепенно набирает трагическую мощь лейт-мотив изгойства, несовпадения сути человека и эпохи, в которой он живет, разрыв поэта и времени, которое он — несмотря на все усилия и прямоту — не в силах ни признать, ни принять. Может быть, ярче всего — в «Шерри-бренди» (2 марта), написанном после одной из пирушек в Зоологическом музее:

Я скажу тебе с последней
Прямотой:
Все лишь бредни, шерри-бренди,
Ангел мой...

Эти строчки фиксируют самую кромку душевного равновесия человека и еле чуемую и чаемую надежду. Слова «Все лишь бредни — шерри-бренди...», действуют одновременно как заклинание и как спасательный круг.

А вот впечатления Варвары Горбачевой, жены Сергея Клычкова, о том, как автор читал их: «Задорным петушком, таким культурным утонченным петушком выпархивает Мандельштам на середину нашей комнатухи и торжественно, скандируя, четко, кристально чисто (в сущности — это манера четкого чтения, но так как у Мандельштама, кажется, нет каких-то зубов, то, в общем, у него дикция плохая) произнося слоги, аккомпанирует замысловатому танцу ног: „Греки сбóндили Елену по волнам, ну, а мне соленой пеной по губám”³⁴.

Колют ресницы. В груди прикипела слеза.
Чую без страха, что будет, и будет — гроза.
Кто-то чудной меня что-то торопит забыть.
Душно — и все-таки до смерти хочется жить.

С нар приподнявшись на первый раздавшийся звук,
Дико и сонно еще озираясь вокруг,
Так вот бушлатник шершавую песню поет
В час, как полоской заря над острогом встает.

Почему, откуда возникает весь этот ряд: слеза, гроза, забытье, смерть, желание жить, нары, бушлатник, острог?.. Не облавные ли это флажки с той же охоты? И не встречаемся ли мы тут снова с пророческим чувством поэта?

Во всяком случае, после Армении нескольких месяцев в обеих столицах оказалось достаточно, чтобы сполна ощутить свое отщепенство и почувствовать себя загнанным волком. Отсюда мандельштамовский «Волк» («За гремучую доблесть грядущих веков...» — многие стихи имели домашние названия, зафиксированные Н. Мандельштам) и весь «волчий цикл» — стихи, попадания которых не в те руки Надежда Мандельштам и Анна Ахматова боялись при аресте не меньше, чем «эпиграммы»³⁵.

³⁴ Клычков Сергей. Переписка. Сочинения. Материалы к биографии. Публикация Н. В. Клычковой. — «Новый мир», 1989, № 9, стр. 210.

³⁵ Что не мешало Мандельштаму предлагать «Волка» и другие стихи из цикла редакциям.

Впервые век-волкодав «забежал» к Мандельштаму на Старосадский тогда же — в самом начале марта:

Ночь на дворе. Барская лжа:
После меня хоть потоп.
Что же потом? Хрип горожан
И толкотня в гардероб.

Бал-маскарад. Век-волкодав.
Так затверди ж назубок:
Шапку в рукав, шапкой в рукав —
И да хранит тебя Бог!

Но вот на отрезке с 17 на 28 марта мандельштамовский «Волк» преодолевает страх перед флажками, прорывается сквозь них и уходит от погони на свободу:

За гремучую доблесть грядущих веков...
За высокое племя людей —
Я лишился и чаши на пире отцов,
И веселья, и чести своей.

Мне на плечи кидается век-волкодав,
Но не волк я по крови своей —
Запихай меня лучше, как шапку, в рукав
Жаркой шубы сибирских степей,

Чтоб не видеть ни труса, ни хлипкой грязи,
Ни кровавых костей в колесе;
Чтоб сияли всю ночь голубые песцы
Мне в своей первобытной красе.

Уведи меня в ночь, где течет Енисей
И сосна до звезды достает,
Потому что не волк я по крови своей
И неправдой искривлен мой рот.

Поразительно, но очень скоро — 30 мая — Булгаков напишет Сталину: «На широком поле словесности российской в СССР <...> я был единственный литературный волк <...> Со мной и поступили, как с волком. И несколько лет гнали меня, по всем правилам литературной садки в огороженном дворе»³⁶.

Несмотря на чередование черных и светлых дней, невзирая на все вскрики «не трагайте, я свой!» и вопреки одиночным знакам благосклонности, ощущение изгойства, затравленности и обложенности красными флажками сопровождали и Булгакова, и Мандельштама всю их жизнь.

Но последняя строка («И неправдой искривлен мой рот») не слишком устраивала автора. Замена искалась долго и нашлась только через несколько лет, в Воронеже:

...Потому что не волк я по крови своей,
И меня только равный убьет!..

Как видим, был пересмотрен или, вернее, уточнен его не-волчий статус.

— Волк?

— Нет, не волк! Человек!

— Волкодав?

— Нет, людоед!

Человек, требующий у гонящегося за ним волкодава почти невозможно — перестать быть людоедом.

³⁶ «Москва», 1988, № 11, стр. 93.

Семен Липкин говорил, что это «лучшее стихотворение XX века». На что польщенный, но не смущенный автор весело отшучивался: мол, это романс и вообще «Надсон» — явно намекая на строчки: «Верь, настанет пора, и погибнет Ваал...»³⁷

Яхонтов был, кажется, первым, кто познакомился с этим стихотворением. При этом он долго к нему привыкал, не сразу и не целиком его приняв. 13 марта датирована запись в его дневнике: «Наш век — мне он не волкодав, а товарищ, учитель, друг, воплощенный в лице Ленина, которого я люблю и перед гениальностью которого преклоняюсь, нет, какой же волкодав, откуда — век отошедший, век Победоносцева — вот волкодав»³⁸.

Об этом же — в более поздней, июльской, записи Яхонтова: «На этот раз протест мой был много слабее, чем до отъезда, когда он затравленным волком готов был разрыдаться и действительно ведь разрыдался, падая на диван тут же, только прочел нам (кажется впервые и первым) — Мне на плечи бросается век волкодав, но не волк я по крови своей»³⁹.

И когда Мандельштам 3 мая стихотворением «Сохрани мою речь навсегда за привкус несчастья и дыма...» закрыл свой «Волчий цикл», он закрыл его человеком — пусть «непризнанным братом», пусть «отщепенцем в народной семье», но — *человеком*, а не пушечным или эшафотным мясом.

«Музыка-голуба» и «трамвайная вишенка»

А вскоре из коммунальной тесноты вылетел через форточку на волю и другой персонаж — «Александр Герцевич», он же «Скерцевич», он же «Сердцевич» и т. д., короче, Беккерман.

Жил Александр Герцович,
Еврейский музыкант, —
Он Шуберта наверчивал,
Как чистый бриллиант...

<...>

Все, Александр Герцович,
Заверчено давно,
Брось, Александр Скерцович,
Чего там! Все равно!

Здесь звучит, казалось бы, тот же настрой, что и в «Шерри-бренди»: «Все лишь бредни...», «Чего там! Все равно...» Но вместе с тем указан и выход из тупика: «Нам с музыкой-голубою / Не страшно умереть...»

Коммуналка на Старосадском была, кстати, весьма «музыкальной». В ее дальнем углу проживал Александр Герцевич Айзенштадт. Именно на него как на прототип стихотворения и как на профессионального скрипача, работавшего в оркестре, указывала Шурина вдова — Элеонора Самойловна Гурвич. Но при ближайшем рассмотрении — через оптику «Всей Москвы на 1929 год» — Айзенштадт оказался Максом Самойловичем и сотрудником «Центроиздата». Да и будь он сотрудником оркестра: вряд ли бы он репетировал дома и тем более разучивал какую-то сонату!

Зато буквально за стеной жили братья Беккерманы, и на одного из них, правда, тоже не на Александра, а на Григория, в качестве прототипа указывал Шурик, племянник поэта. Самого Шурика в марте 1931 года еще и на свете не было, но он торопился на свет, и светом ему была эта квартира с ее звуковой гаммой, в партитуру которой, по-видимому, он и сам некоторое время вставлял свой младенческий плач.

³⁷ Липкин С. «Угль, пылающий огнем...» Воспоминания о Мандельштаме. Стихи, статьи, переписка. Материалы о Семене Липкине. М., РГГУ, 2008, стр. 23.

³⁸ РГАЛИ. Ф. 2440. Оп. 1. Д. 45. Л.51.

³⁹ РГАЛИ. Ф. 2440. Оп. 1. Д. 45. Л.46, 51.

Окуляр «Всей Москвы» позволил приблизиться к разрешению загадки. Оказалось, что Беккерманов за стеной было двое, двое родных братьев, двое Герцевичей, но!.. Один из них был музыкантом, и звали его Григорием, а второй — врачом, урологом из клиники 2-го МГУ, и его действительно звали Александром. Александром Герцевичем!⁴⁰

Но почему поэт сделал музыкантом именно уролога? А потому что тот и на самом деле был точно таким же музыкантом, как и его брат, может быть, по свидетельству 10-летней Раечки Сегал, даже лучшим из них. А главное — куда более голодным на музыку, ибо в дневное время его врачебные руки и уши были заняты отнюдь не ею. Половину небольшой комнаты братьев Беккерманов занимал огромный рояль, и Раечка «очень любила сидеть на маленькой скамеечке и слушать, как Саша играет Шопена, Шуберта, Листа...»⁴¹ Но самым благодарным слушателем, как видим, оказался Осип Мандельштам, соседский брат, невольно подаривший музыканту-урологу бессмертие.

В сущности, и сам Осип Эмильевич, которому в детстве ставили руку по системе Лешетицкого, запросто мог отождествлять и себя с этим упрямым еврейским музыкантом. Эмма Герштейн однажды уловила у него некий *свой мотив*, общий для стихов и для музыки: «Было странно слышать знакомые строки в стремительном темпе и патетической интонации Мандельштама („И об игре трагической страстей“). У него вообще был свой мотив. Однажды у нас на Щипке как будто какой-то ветер поднял его и занес к роялю, он сыграл знакомую мне с детства сонатину Моцарта или Клементи с точно такой же нервной, летящей вверх интонацией... Как он этого достигал в музыке, я не понимаю, потому что ритм не нарушался ни в одном такте. По-видимому, все дело было в фразировке» (ГЭ, 30).

Остается только поаплодировать этому поднявшемуся ветру и растревоженной им музыке-голубе!

А за окнами, за толстыми стенами добротного дореволюционного дома на Старосадском гремела и клекотала, цокала и громыхла на стыках жизнь большого города, «курвы Москвы», не считающейся ни с кем и ни с чем. В апреле 1931 года поэт признавался себе:

Нет, не спрятаться мне от великой муры
За извозчичью спину — Москву,
Я — трамвайная вишенка страшной поры
И не знаю, зачем я живу.

Мы с тобою поедем на «А» и на «Б»
Посмотреть, кто скорее умрет,
А она то сжимается, как воробей,
То растет, как воздушный пирог.

И едва успеваешь грозить из угла —
«Ты как хочешь, а я не рискну!» —
У кого под перчаткой не хватит тепла,
Чтоб объехать всю курву — Москву.

Какой-то щемящей, дребезжащей, травящей душу струной связаны эти стихи о «трамвайной вишенке» с другими — из другого времени и о другом городе, но на самом деле об одном и том же:

...После бани, после оперы
Все равно, куда ни шло,
Бестолковое, последнее
Трамвайное тепло.

⁴⁰ Видгоф Л. Вокруг поэта: «Гражданин Пусловский», «Александр Герцевич, еврейский музыкант» и «Доктор Герцберг». — В сб.: «Корни, побег, плоды...» Мандельштамовские дни в Варшаве. М., РГГУ, 2015, стр. 163 — 166.

⁴¹ Сегал Р. Л. Из воспоминаний, стр. 28.

Залихватские виражи трамвайных рельс («Люблю разъезды скворчащих трамваев...»), остановки, на которых топчутся изготовившиеся к штурму пассажиры, битком набитые салоны и площадки (ведь «вишенки» — это еще и пассажиры, висящие на дверях и поручнях), наконец, специфическая трамвайная социальность, или, попросту, тыкающая брань и ругань:

Еще далёко мне до патриарха,
Еще на мне полупочтенный возраст,
Еще меня ругают за глаза
На языке трамвайных перебранок,
В котором нет ни смысла, ни аза:
Такой-сякой! Ну что ж, я извиняюсь, —
Но в глубине ничуть не изменяюсь...

Трамвайные толкучки и перебранки — это своеобразная школа ГТО⁴² для москвичей, каждодневная гимнастика для их языков и локтей. И Осип Эмильевич был тут не последним игроком: «Как-то <...> Надя весело рассказывала об одной из обычных трамвайных перебранок. Они пробивались к выходу, получая тычки и виртуозно отругиваясь. Но последнее слово осталось за оппонентом. „Старик беззубый”, — обозвал он Мандельштама. Выйдя уже на переднюю площадку, Осип Эмильевич приоткрыл дверь в вагон, просунул голову и торжествующе провозгласил: „Зубы будут!” С этим победным кличем они вышли из трамвая» (ГЭ, 17).

Из подобных «побед» и «поражений», маленьких и больших, и лепилась каждодневная жизнь. Жизнь поэта, «обуянная славным бесом», освещенная и освященная стихами.

11 мая он писал младшему брату: «А служить грешно, потому что работаете мне сейчас здорово» (4, 140). А еще через несколько дней — отцу, причем о самом главном для себя — о: «Дорогой папочка! // <...> Ты моложе нас: пишешь стихи о пятилетке, а я не умею. Для меня большая отрада, что хоть для отца моего такие слова, как коллективизм, революция и пр., не пустые звуки. Ты умеешь вычитать человеческого смысл в своей Вечерней Газете, а я и мои сверстники едва улавливаем его в лучших книгах мировой литературы. // Мог ли я думать, что услышу от тебя большевистскую проповедь? Да в твоих устах она для меня сильнее, чем от кого-либо. Ты заговорил о самом главном: кто не в ладах со своей современностью, кто прячется от нее, тот и людям ничего не даст, и не найдет мира с самим собой. Старого больше нет, и ты это понял так поздно и так хорошо. Вчерашнего дня больше нет, а есть только очень древнее и будущее» (4, 140—141).

И непослушный сын не то чтобы послушался отца, но явно прислушался к нему. Сын и сам был средоточием сомнений и метаний, эпицентром того внутреннего диалога, который раздирает его, раскалывает на куски. Как найти свое место во времени, как утвердиться в нем и одновременно удержать с ним «дистанцию» — посильная ли это задача?

...Не волноваться. Нетерпенье — роскошь.
Я постепенно скорость разовью —
Холодным шагом выйдем на дорожку,
Я сохранил дистанцию мою.

Навстречу читателю

Вернувшись из Армении со стихами, Мандельштам сразу же отнес в «Новый мир» свою первую подборку урожая 1930 года — цикл «Армения». И очень скоро, уже в мартовской книжке «Нового мира» за 1931 год, цикл был напечатан.

⁴² Всесоюзное движение физкультурников «Готов к труду и обороне».

Мало того, узнав о фиаско Манделъштама с жильем в Доме Герцена, Полонский выдал Манделъштаму аванс (по существу — беспроцентный кредит) в 2500 рублей, чтобы тот мог купить себе квартиру, но вариант с Марьиной Рошей, о котором Осип Эмильевич с восторгом писал отцу, — лопнул. (4, 144).

О своем впечатлении Яхонтов, уже слышавший эти стихи раньше, записал: «Вчера вечером Осип Манделъштам читал нам свою „Армению” и петербургские небольшие вещи. И то и другое поражает своей суровой трагичностью и простотой. Он проходит мимо эпохи кустарниками и виноградниками Армении и опустевшими улицами северного города „с рыбьим жиром фонарей”. Подлинно „из тяжести недоброй и я когда-нибудь прекрасное создам”»⁴³.

Прочли цикл и другие, в том числе манделъштамовский благодетель Гусев. В его служебные обязанности как заместителя заведующего Культпропа входили и критические обзоры литературной периодики. И в самом конце 1931 года, когда писался очередной такой обзор, он не забыл своего «подопечного» и его, еще в марте опубликованный, цикл.

В разделе о «Новом мире» встречаем целых два упоминания о Манделъштаме. Первое — не личное, но в связи с «Новыми миром»: «Журнал в основном держал курс на писателей необуржуазных и попутчиков, скатывающихся с позиций попутничества вправо, — А. Толстой, Сергеев-Ценский, Буданцев, Пильняк, Манделъштам, Пастернак, Приблудный и др. // Если в отношении других журналов, напри[ме]р „Красная новь”, мы говорим о значительных политических срывах, о грубых ошибках, то в отношении „Нового мира” нужно сказать, что политические срывы и ошибки носят характер системы. // „Новый мир” является каналом и рупором для чуждой идеологии».

И тут же именной выпад против Манделъштам и его стихов: «Общую линию художественной прозы продолжает и поэзия. Стихи Приблудного, Прокофьева, Пастернака, Манделъштама, Сельвинского дополняют картину. Сельвинский пишет, что в Биробиджане евреи обрели „новую Палестину”, Манделъштам идеализирует старую Армению с ее экзотикой и нищетой»⁴⁴

Вместе с тем революционные события происходили и внутри «литературного процесса», и касались они прежде всего «толстых» журналов. Начиная с марта, «Красная новь» стала выходить под марками ФОСП⁴⁵ и РАПП, а ее главным редактором был назначен А. А. Фадеев⁴⁶. Казалось бы, главный «путнический» журнал, в котором Манделъштам был как минимум своим⁴⁷, грозил превратиться в рядовой «рапповский», наподобие «Октября».

⁴³ Запись в дневнике Яхонтова не позднее 15 марта 1931 года (РГАЛИ. Ф. 2440. Оп. 1. Д. 61. Л. 151).

⁴⁴ Докладная записка Культпропа о состоянии основных литературно-художественных журналов в Оргбюро ЦК ВКП(б) — Сайт Фонда Александра Яковлева. Большая цензура. Раздел 3. Великий перелом (1930 — 1939). Док. № 168. За подписью: зам. зав. Культпропом — А. Гусев. Печ. по: РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 114. Д. 275. Л. 83 — 97. В сети: <<http://www.alexanderyakovlev.org/fond/issues-doc/1014710>>.

⁴⁵ ФОСП — федерация объединений советских писателей образована была 27 декабря 1926 на учредительном собрании, созданном Всероссийской ассоциацией пролетарских писателей (ВАПП), Всероссийским обществом крестьянских писателей (ВОКП) и Всероссийским союзом писателей (ВСП). Основной задачей ФОСП являлось «объединение различных писательских группировок, желающих активно участвовать в строительстве СССР и считающих, что наша литература призвана сыграть в данной области одну из ответственных ролей». — «Литературная энциклопедия. 1929 — 1939». Цит. по: <<http://feb-web.ru/feb/litenc/encyclp/leb/leb-6731.htm>>.

⁴⁶ В редколлегии кроме Фадеева — Л. Леонов, Вс. Иванов и П. Горохов. Одновременно из состава секретариата РАПП был выведен А. А. Безыменский («Литературная газета», 1931, 9 марта).

⁴⁷ В 1922 — 1923 годах Манделъштам четырежды печатался в «Красной нови». Здесь увидели свет его стихи «Декабрист», «Уничтожает пламень...», «Век», «Феодосия», «Чуть мерцает призрачная сцена...», «Что поют часы-кузнецик...» и «Нашедший подкову», а также рецензия на книгу Андрея Белого «Записки чудака».

Но не превратился: Фадеев не поменял базовые векторы и продолжил печатанье «попутчиков», даже перехватывал их у «Нового мира», одновременно стараясь переквалифицировать из «попутчиков» в «союзников».

Печатал же он их просто потому, что они лучше писали. Ожидание гениев из других слоев населения как-то затягивалось. А если кто-то и возникал, как, например, Андрей Платонов, то очень скоро получал «по башке»: «Талантливый писатель, но сволочь, враг!» — можно сказать, суммируя отзыв Сталина о повести «Впрок», напечатанной аккурат в марте, в уже фадеевской «Красной нови»⁴⁸.

Может быть, именно поэтому Фадеев не взял тогда подборку Мандельштама. При этом, по словам Н. Я. Мандельштам, он пустился в сравнительные рассуждения о Пастернаке: «„Пастернак ведь тоже чужой, — сказал мне как-то Фадеев, перелистывая стихи О. М., — и все-таки он как-то ближе к нам и с ним на чем-то можно сойтись...” <...> „Почему ‘раппортички’ два ‘п’?’” — спросил Фадеев и тут же догадался, что от слова Рапп... И, покачав головой, он вернул мне стихи со словами: „С Пастернаком нам гораздо легче — у него природа”. Но дело шло, конечно, не только о тематике стихов и даже не о самих стихах, а о том, что у Пастернака были все-таки какие-то точки соприкосновения с бытовой и традиционной литературой, а через нее со всеми раппами, а у Мандельштама их не было. Пастернак хотел дружбы, Мандельштам от нее отказывался» (НМ, 1, 231).

Но не думаю, что это именно так. Мандельштам не отказывался от дружбы с советской властью, он скорее не искал с ней вражды, а платить любую цену за «дружбу» был не готов. В этой внутренней борьбе с самим собой, в этом мучительном диалоге и попытках осязания невидимой «красной черты» конформизма проходила жизнь практически каждого человека в СССР. И Мандельштам не исключение: так что героическим его поведение не было и могло выглядеть таковым разве что на фоне некоторых других.

Впрочем, иные писатели — и исключительно по собственной инициативе — считали себя мобилизованными бойцами, не возражали против расстрелов «несчастных по темницах» и охотно подбрасывали дровишки в костры будущих погромщиков, указывая на заслуживающих такой кары.

10 декабря 1931 года были арестованы сразу несколько обэриутов и поэтов их круга — Хармс, Введенский, Туфанов, Андроников...⁴⁹ Их обвиняли в организации «антисоветской группы литераторов» в детском секторе издательства «Молодая гвардия» (оно же бывший детский отдел ЛенотГИЗа) и в «протаскивании в детскую литературу политически враждебных идей и установок».

Так уж сложилось, ну совершенно случайно, что 16 декабря 1931 года, когда плоть ОБЭРИУ томилась в тюрьме, против духа ОБЭРИУ на дискуссии в ВСПП выступил Николай Асеев⁵⁰. Его главный тезис — удаленность товарищей «от проблем соцстроительства». Слово свидетелем на незримом или будущем процессе выступил! Вот вам и маленький вклад большого футуриста в футури-

⁴⁸ См. подробнее: Андрей Платонов и его современники. Вступительная статья, составление, подготовка текста и примечания Н. Корниенко. — «Октябрь», 2013, № 10, стр. 111 — 160.

⁴⁹ 21 марта 1932 г. на заседании выездной сессии Коллегии ОГПУ Хармса приговорили к заключению в концлагерь сроком на три года, а Туфанова — на пять лет; А. И. Введенского — «из-под стражи освободить, лишив права проживания в Московской и Ленинградской областях, пограничных округах и крупных городах сроком на три года». 23 мая приговор Хармсу был смягчен — его тоже досрочно освободили, но лишив права проживания в 12 городах и Уральской области на оставшийся срок (см.: Следственное дело № 4246 — 31 г. 1931 — 1932 годы. Публикация Н. М. Кавина. Подготовка текстов и примеч. В. Н. Сажина. — В кн.: «...Сборище друзей, оставленных судьбою»: «Чинари» в текстах, документах и исследованиях. В 2 т. 2-е изд. М., «Ладомир», 2000. Т. 2, стр. 519 — 573).

⁵⁰ Асеев Н. Сегодняшний день советской поэзии. — «Красная новь», 1932, кн. 2, стр. 164. Эта статья не что иное, как стенограмма дискуссии 16 декабря 1931 года.

стический Большой террор, не послушавшийся его и прошедший по всем, не исключая и будущников с левовцами.

«Новый мир» Вячеслава Полонского, где Асеев читал 27 апреля свою поэму «ОГПУ»⁵¹, продержался лишь полугодом дольше «Красной нови». Упомянутый отчет Гусева (мол, «Новый мир» — это канал и рупор чуждой идеологии) стал даже не приговором, а констатацией, так как последний номер журнала под редакцией Полонского вышел в ноябре 1931 года⁵².

Мандельштамовская «Армения», появившаяся там еще в марте, сразу же вернула автора в ряды пишущих и печатающихся поэтов и была замечена очень многими. Вторая в 1931 году публикация — стихотворение «С миром державным я был лишь ребячески связан...» — увидела свет в апрельской «Звезде».

В середине мая 1931 года поэт писал отцу: «Я познакомлю тебя с моими литературными мытарствами. Большой цикл лирики, законченный на днях, после Армении, не принес мне ни копейки. Напечатать нельзя *ничего*. Журналы кричат и не решаются. Хвалят много и горячо. Сел я еще за прозу, занятие долгое и кропотливое, — но договоров со мной по той же причине — не заключают и авансов не дают. Все это выяснилось с полуслова. Я вполне примиряюсь с таким положением, ничего никуда не предлагаю, ни о чем нигде не прошу... Главное, папочка, это создать литературные вещи, а куда их поставить, — безразлично... Пера я не сложу из-за бытовых пустяков, работать весело и хорошо...» (4, 142).

Кое-что о причинах этого «напечатать нельзя ничего» разъясняет запись за 8 апреля из дневника Полонского: «Как-то по телефону я защищал один отрывок Леонова, который резал Главлит. Лебедев-Полянский, отстаивая „жестокость“ своих цензоров, заметил мне: — Вы не думайте, что теперь можно печатать то, что мы печатали несколько лет назад. Сейчас мы не пропустили бы „Конармию“ Бабеля. Не пропустили бы и „Перегной“ Сейфуллиной и „Голый год“ Пильняка. Теперь эти вещи — контрреволюционны»⁵³.

Мандельштам с Лебедевым-Полянским (кстати, зарубившим в свое время переиздание его буржуазного «Камня») не общался, но атмосферу знал.

Публикация в апрельской «Звезде» оказалась, увы, последней в этом году. Подборка из пяти-шести других в «Ленинграде», сданная в феврале, была принята на апрель, но так и не вышла: в нее входили «Мы с тобой на кухне посидим...», «Не говори никому...», «Куда как страшно нам с тобой...», «Я вернулся в мой город, знакомый до слез...», «На полицейской бумаге верже...» и «Я скажу тебе с последней прямой...»⁵⁴ Три стихотворения этого периода — «Канцона», «Полночь в Москве. Роскошно буддийское лето...» и «Еще далёко мне до патриарха...» — планировались, как установил А. Морозов, в подборку, анонсированную журналом «Литературный современник» на 1933 год (увы, и эта публикация не состоялась)⁵⁵.

Но больше всего Мандельштам рассчитывал, конечно же, на «Новый мир», где за него представляли не только стихи, но и «свой» зав. отделом

⁵¹ 14 апреля 1931 г. в «Литературке» был напечатан отрывок из нее, а 27 апреля он читал ее на своем вечере в «Новом мире». См. запись в дневнике В. П. Полонского от 28 апреля 1931 года (Полонский В. Моя борьба на литературном фронте. Дневник. Май 1920 — январь 1932. Подготовка текста, публикация и комментарии С. В. Шумихина. — «Новый мир», 2008, № 4.)

⁵² 24 февраля 1932 года Вячеслав Павлович Полонский, лишенный дела жизни, умер, избежав тем самым почти неизбежного для человека с его биографией ареста пятью годами позже.

⁵³ «Мне эта возня не кажется чем-то серьезно литературным...» (Из дневника Вяч. Полонского. Март-апрель 1931 года). Публикация И. И. Аброскиной. — «Встречи с прошлым». Вып. 9. М. «Русская книга», 2000, стр. 310.

⁵⁴ Виза Михаила Козакова (17 февраля 1931 года) фиксирует скорее время поступления стихов в редакцию. ИРЛИ. Ф. 374. Д. 224.

⁵⁵ ИРЛИ. Ф. 443. Ед. хр. 14.

поэзии (Зенкевич). Но от предложенной ему «Новым миром» публикации — еще одной публикации одного-единственного стихотворения — Мандельштам отказался сам, и цензура тут не при чем. Вот что он писал Полонскому 3 июля: «Позавчера я передал М. А. Зенкевичу 10 (десять) стихотворений для оглашения их в редколлегии „Н[ового] Мира”. Однако, зачитаны из них были только 2 (два), а принято — одно. Это стихотворение даст читателю, с которым я и без того достаточно разобщен, крайне неполное понятие о последних этапах моей лирики, а потому печатать его обособленно я не могу» (4, 143).

К сожалению, Полонский, столкнувшись с ультиматумом, по-начальнически принял его за вздорную строптивость и не напечатал ни одного: у него были другие расклады. Он рассердился, не услышал поэта и не пошел ему навстречу. Скорее всего, он усмехнулся такой резкости и подумал: «Выпендриваешься? Ну-ну, валяй...»

Попробуем все же понять, какие стихи предлагал Мандельштам? Или, точнее, какие это могли быть стихи?

Резонно предположить, что, отвергнутые «Новым миром», стихи остались у самого Миши Зенкевича. И действительно — остались! В его архиве находим автографы или списки (рукою Нади или его собственной) даже не десяти, а, в сущности, почти всех стихов «Первой московской тетради»⁵⁶. Во-первых, это подборка «Семь стихотворений»: «Куда как страшно нам с тобой...», «Мы с тобой на кухне посидим...», «Не говори никому...», «Я вернулся в мой город, знакомый до слез...», «Я скажу тебе с последней...», «После полуночи сердце ворует...» и «На полицейской бумаге верже...». Остальные единицы хранения добавляют к ним одно октябрьское 1930 года («Дикая кошка — армянская речь...»), «Как бык шестикрылый и грозный...»), одно февральское 1931 года («Помоги, Господь, эту ночь прожить...»), три мартовских («Я скажу тебе с последней прямой...», «За гремучую доблесть грядущих веков...», «Колют ресницы. В груди холодеет (так в рукописи — П. Н.) слеза...»), четыре апрельских («Неправда», «Я пью за военные астры...», «Нет, не спрячьтесь мне от великой муры...», «Нет, не мигрень...») и два написанных в мае или летом («Еще далёко мне до патриарха...» и «Сегодня можно снять декалькомани...») стихотворения.

Итого — 19 «претендентов» на 10 «вакансий». Даже если отбросить четверостишие-эпиграфы к циклу «Армения» и явно непроходные и, возможно, не для печати, а по дружбе подаренные Зенкевичу стихи, то получим не меньше 13 «претендентов». То есть однозначно реконструировать мандельштамовскую «десятку», увы, не получится.

В следующем году преемник Полонского Иван Гронский, впрочем, дважды напечатал Мандельштама: в апреле и в июне — всего шесть стихотворений⁵⁷. И еще три стихотворения вышли в конце 1932 года в «Литературке»⁵⁸. Только четыре из девяти — из того множества стихов 1930 — 1931, что условно можно назвать «Первой московской тетрадь», остальные пять — уже из «Второй».

Но и эта скудость некоторым казалась избыточной. Так, пролетарский писатель С. Д. Фомин, в письме М. Горькому от 22 апреля 1933 года плакался буревестнику: ну как же так — его не печатают, а «одногодков по классу и идеологии О. Мандельштама (с „Роялями”) и В. Нарбута („Перепелиный ток”) — печатают»⁵⁹.

Вот, кстати, перечень стихотворений из «Первой московской тетради», которые Мандельштам даже не предлагал журналам для публикации: два

⁵⁶ ГЛМ. Ф. 247. Оп.1. Д. 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 и 47. Все — списки рукой жены, но как единая, авторизованная подборка (в одном случае с правкой).

⁵⁷ «Новый мир», 1932, № 4: «Довольно кукситься! бумаги в стол засунем!...», «О, как мы любим лицемерить...»; «Новый мир», 1932, № 6: «Рояль», «Ламарк», «Батюшков» и «Там, где купальни, бумагопрядильни...»

⁵⁸ «Ленинград», «Полночь в Москве» и «К немецкой речи».

⁵⁹ Архив Горького: 32883, КГП, 82, 12, 6.

майских стихотворения («Жил Александр Герцевич...» и «Сохрани мою речь навсегда...») и три июньских («Полночь в Москве...», «Фаэтонщик» и «Как народная громада»). Почему?

Этим и многим другим стихам пришлось дожидаться американских публикаций первой половины 1960-х, а если говорить о публикациях на родине — то, отчасти, второй половины 1960-х, а главным образом — конца 1980-х.

Дружеский круг

Весьма вероятно, что во второй декаде февраля 1931 года Мандельштам ездил в Ленинград. Главной задачей, по-видимому, был договор на собрание сочинений. Одновременно едва ли не во все ленинградские журналы он отдал подборки стихотворений для публикации.

Тогда же, видимо, он встретился и с Константином Вагиновым. Во всяком случае, 11 февраля Вагинов надписал Мандельштаму и, вероятно, подарил свою книгу «Опыты соединения слов посредством ритма» (1931): «Осипу Эмильевичу Мандельштаму от очень любящего его стихи автора. 11 / II. 31 г.»⁶⁰.

Мандельштам ценил Вагинова⁶¹, но опыта соединения жизней посредством дружбы между ними не произошло. А ведь именно дружеское общение — еще с тенишевских времен, со встречи с Борисом Синани, и с периода первого Цеха, со встреч с Гумилевым и Георгием Ивановым, — почиталось Мандельштамом за главный дар богов и за счастье в жизни.

И судьба, мы знаем, тут не скупилась: до Армении из ленинградцев к близким друзьям, не колеблясь, можно было отнести Ахматову, Бена и Тату Лившиц (при всех турбулентностях), Стеничей и Моргулисов, а в Москве — Шкловских, Яхонтовых, а также Эмму Герштейн с Евгением Яковлевичем, Надиным братом (у них друг с другом был совершенно безрадостный для обоих роман).

С Пастернаком, Клычковым, Зенкевичем и, может быть, с Клюевым установился несколько другой тип связи — не дружеский, а как бы братский, если принимать блоковский тезис о братстве поэтов буквально — как о братстве поэтов. Особенно тесной была связь с Клычковым, только усилившаяся после того, как Мандельштам въехал в Дом Герцена, где уже жил Клычков. Наведывались и поэты помоложе, с некоторыми из них связь установилась еще во времена, когда Мандельштам недолго служил в «Московском комсомольце» (Липкин, Апель, Богаевский). А с Тарковским, Штейнбергом, Н. Берендгофом и Л. Горнунгом Мандельштам встретился у своего давнего приятеля — Рюрика Ивнева (примерно 20 мая)⁶². Всех их он смачно поругал, но с лестницы с криками «А Христа печатали? А Будду печатали?» не спускал.

Еще с середины 1920-х, с Детского Села, Владимир Яхонтов входил в число ближайших друзей Мандельштама. Друг другу они показывали даже свое неоконченное: Мандельштам — «Волка» и волчий цикл, а Яхонтов, на пару с коротышкой Диночкой Бутман, раннюю версию «Горя от ума» — так и не увидевший рампы спектакль-дуэт, в котором роли перетекали одна в другую. 23 февраля В. Яхонтов записал в дневнике: «Ночь 23/II-31. Были Мандельштамы. <...> Показывали им сцену из „Горя от ума“ (Фамусов и Скалозуб, II акт). Мандельштам отметил в ней греческое начало (козел и игра с козлом). Такова эта замечательная мизансцена, когда Фамусов и Скалозуб сталкиваются лбами. Мандельштам определил „Горе“ как зрелость и классику»⁶³.

⁶⁰ Оригинал: Собрание Р. Д. Тименчика, Иерусалим.

⁶¹ В 1927 году, собирая книгу статей («О поэзии»), он даже вставил его имя в скупой перечень русских поэтов «навсегда» в статье «Выпад» 1924 года.

⁶² Горнунг Л. В. Немного воспоминаний об Осипе Мандельштаме. По дневниковым записям. — В кн.: Жизнь и творчество О. Э. Мандельштама. Воронеж, Издательство Воронежского университета, 1990, стр. 31.

⁶³ РГАЛИ. Ф. 2440. Оп. 1. Д. 46. Л. 51.

Близкими друзьями были и переехавший в Москву «старик Маргулис», и Эмма Герштейн. Маргулис запоминал или записывал стихи Мандельштама, и уже «на следующий день, кто бы нас ни встретил, цитировал их. Заходил Боря Лапин с пишущей машинкой и молча выстукивал новый стишок» (НМ, 2, 539).

Но в самый центр дружеского круга после Армении ворвался 27-летний Борис Кузин. Он стригся «под ноль» и, как писала остроглазая Герштейн, «гордился своим породистым затылком мыслящего мужчины» (ГЭ, 23). Носил крахмальные воротнички, был длиннорук и обладал чистейшим московским говором. С кем-то из своих друзей он всегда ходил в консерваторию на Баха и имел как бы абонемент в девятом ряду партера. Так же страстно он любил джаз и умел доставать пластинки. Он боготворил стихи, причем больше всего любил Пастернака и Мандельштама, но чтил и других — Гумилева, Кузмина и Бунина. Хорошо зная немецкий, зачитывался Гете.

Его мама и сестры жили в Замоскворечье на Большой Якиманке, он сам — соблюдал от семьи дистанцию и прилепился к Зоологическому музею МГУ на Большой Никитской: днем работал в нем, а вечером — сторожил, за что имел при музее комнату, а также весь музей в свое распоряжение в нерабочее время. Где к общему удовольствию и собирались частенько друзья-биологи, а с ними и Мандельштам с женой.

Между Кузиным и Мандельштамом с первого же дня натянулась вибрирующая дружеская струна и сложился особый и всегда готовый к продолжению разговор. Он мог касаться чего угодно, но в том числе и новых стихов. Кузин обожал старые, особенно те, что из «Tristia», и как-то недолюбливал новые — именно за первостатейную их новизну.

Так, по крайней мере, утверждала Надежда Мандельштам: «Кузин не знал, что делать со стихами. Он привык к книгам, где он им доверял, но со свеженьким никак не знал, как поступить. Он искренно огорчился, услышав новые стихи. Одно Мандельштам в его честь даже уничтожил, но потом понял, что дело не в самих стихах, а в Кузине, и перестал реагировать на его слова. Кузин стремился к стабильности и принадлежал к породе людей, которые признают только ставшее и не переносят становящееся» (НМ, 2, 539).

Сопротивление — и критика — между тем не были поголовными или безличными. К каждому стихотворению по отдельности у него была своя критика, причем культура дискуссии в его области не допускала и мысли требовать от автора аутодафе или исправлений: авторское дело!

Иногда он критиковал отдельные выражения. Так, про «Сохрани мою речь навсегда...» замечал, что по-русски не говорят — «на бадье», а говорят — «в бадье». Но однажды Кузин выразил Мандельштаму свое неудовольствие по поводу политического настроения двух его белых стихотворений: «Сегодня можно снять декалькомани...» и «Еще далёко мне до патриарха...»: в одном Мандельштам полемизирует с белогвардейцами, в другом — расхваливает «страусовые перья арматуры / В начале стройки ленинских домов». Этот, разговор, по-видимому, был довольно бурным, коль скоро Эмма Герштейн застала Осипа Эмильевича уже одного, упавшего на кровать и бормочущего в волнении: «Что это? Социальный заказ с другой стороны? Я вовсе не желаю его выполнять!» (ГЭ, 23).

Это, конечно же, был не социальный заказ «с другой стороны», а искреннее и не навязываемое мнение близкого и самостоятельно мыслящего человека (разновидность «похвалы без лестии»). Оттого-то Осипу Эмильевичу было тем тяжелее и тем важнее это мнение выслушивать и в него вживаться, что он и сам видел его справедливость. Ни личных, ни историософских связей и коннотаций с защитниками свергнутого строя — белогвардейцами — у него, в отличие, например, от Булгакова или Цветаевой, не было, как не было и тоски по проигранному ими прошлому: «Ничего, ничего я там не оставил» — говорил он о царской России (ГЭ, 18).

С меньшевиками (по крайней мере — с грузинскими, арестовавшими его в 1920 году в Батуме⁶⁴) у него были свои «коннотации» и счеты, но сравнение ручного цыганского медведя на привязи с арестованным меньшевиком («Где арестованный медведь гуляет — / Самой природы вечный меньшевик») — спустя лишь несколько месяцев после мартовского процесса «Союзного бюро меньшевиков» с его 14 безвинно, незаконно и жестоко осужденными — было воспринято Кузиным как некошерное злорадство. Может ли поэту быть по пути с теми, для кого процитированная им самим в «Четвертой прозе» есенинская строчка — «Не расстреливал несчастных по темницам» — не символ веры?

Конечно, поэт целил в другое — в реальных Мишек с завязанными мордами и обточенными когтями, которых водили по бульварам поводыри-цыгане, заставляя кланяться и упадать на землю⁶⁵. Но замечание больно ранило своей справедливой допустимостью.

Кузин как ученый отрицал не только дарвинизм, но и тесно связанный с ним марксизм как идеологическую основу советской власти. И если Мандельштам воспринимал советскую власть немного поэтично — как парадокс ассирийско-египетской социальности, то Кузин осознавал и ощущал ее безо всяких аналогий — грубее, прямее, глубже, физиологичней.

У поэта возник глубокий интерес к вопросам биологии и шире — естествознания. Погружение в них вскоре поможет Мандельштаму лучше понять своего друга и ощутимо приблизиться к его воззрениям. Через Кузина завязалось знакомство и с новым для поэта типом людей — ученых-биологов, таких же, как и Кузин, ламаркистов и «за честь природы фехтовальщиков». Вечерние вылазки в Зоологический музей, разговоры за бутылочкой грузинского вина с «зоологической камерильей»⁶⁶ становились все чаще и все желаннее. А Юлий Матвеевич Вермель (1906 — 1943?), друг и соавтор Кузина, как объект стихотворного остроумия временами конкурировал с самим «стариком Маргулисом» (3, 148 — 150).

К тому же Кузин был одним из первых, кто внес в жизнь Мандельштамов тему ОГПУ. Органы настойчиво вербовали его в осведомители в среде университетских биологов, а он твердо отказывался от такой чести и нарочито делился с друзьями подробностями, в надежде, что органы об этом узнают и отстанут. Да и арестованным — из ближайшего круга поэта — он тоже оказался одним из первых: впервые — уже в 1932 году, вторично — в апреле 1933⁶⁷.

На Полянке

В конце июня после возвращения Шуры с Лелей из отпуска Мандельштамы переехали в Замоскворечье. С конца мая и по октябрь они прожили в Замоскворечье в квартире Цезаря Георгиевича Рысса (1888 — 1973) — архитектора, доброго знакомого А. Моргулиса. Точный адрес: Большая Полянка, дом 10, квартира 20 — это в самом начале улицы, в двух шагах от Водоотводного канала и неподалеку от дома на Якиманке, где жил Кузин⁶⁸.

⁶⁴ Впрочем, и с российскими тоже: меньшевика «шили» в 1921 году его беспартийному младшему брату Жене, а у Шуры на Старосадском реальным меньшевиком был сосед Леон Гольдман (кличка «Аким»), брат еще более видного меньшевика «Либер».

⁶⁵ Ср.: Видгоф Л. «Но люблю мою курву-Москву», стр. 271 — 273.

⁶⁶ От Каммерера, надо полагать, эта «неправильность».

⁶⁷ В 1933 году был репрессирован и Виктор Серж. В ночь с 13 на 14 сентября 1931 года прошел обыск у Ю. Юркуна и М. Кузина в Ленинграде с выемкой коллекций Юркуна и дневников Кузина за 1929 — 1931 годы (Шумихин С. Три удара по архиву Михаила Кузина. — «Новое литературное обозрение», 1994, № 7, стр. 166 — 167). Но самым первым репрессированным в ближнем для Мандельштама кругу был, вероятно, Владимир Пяст. В феврале 1932 года Мандельштам собирал для него две посылки (Б. М. Зубакин писал об этом В. А. Пясту. См.: Немировский А. И., Уколова В. И. Свет звезд, или последний русский розенкрейцер. М., «Прогресс», 1994, стр. 254).

⁶⁸ Ни этот дом, ни тот, где жила семья Кузина, не сохранились.

Окна смотрели на две стороны — на Кремль и на храм Христа Спасителя. Под окнами, громыхая, ходил трамвай № 18, в часы пик облепленный висящими пассажирами. По Малому и Большому Каменным мостам он пересекал Канавку и Москву-реку, сходу брал приступом Ленивку и заворачивал налево — на Кольцо «А» (Бульварное), чтобы докатить гроздь своих трамвайных вешенок-вишинок до Страстной площади.

Я повторил за Осипом Эмильевичем слово «квартира» и допустил неточность. Но не ошибку: Рысс перегородил одну из двух своих огромных, 29-метровых комнат с высоченными потолками в классической коммуналке и устроил самую настоящую трехкомнатную квартиру (с удобствами, разумеется, в коридоре).

Летом 1931 года он был сначала в служебной командировке⁶⁹, а потом в отпуске на Украине. В этой царской роскоши Осип Эмильевич и Надежда Яковлевна с удовольствием прожили до конца октября. И даже не одни! В августе из Киева и Ленинграда сюда съехались и здесь поселились Вера Яковлевна и Эмиль Вениаминович. Но отсюда и тот разбой, что всплывает в августовской переписке с младшим братом: «Милый Женя! Картина моей жизни, нарисованная папой, довольно фантастична. <...> Папа и Вера Яковлевна живут не „в одной комнате“, а в *целой квартире* и прекрасной — до 1 октября». Никто их не тревожит» (4, 144).

Эмма Герштейн радовалась из своего Щипка, что Мандельштамы поселились так близко, в Замоскворечье, но Осип Эмильевичне разделял ее «...умиления переулками из Островского. // Зато „река-Москва в четырехтрубном дыме“ явно увидена с Болотной набережной и Бабьегородской плотины — места, которые нужно было проходить, направляясь к Кузину на Якиманку — мимо фабрики „Красный Октябрь“» (ГЭ, 23).

Именно здесь, на Полянке было написано большинство белых стихов, плотью и духом которых стала Москва, самый ее центр. И снова возник образ «разбойника Кремля» с великовозрастным «недорослем» — колокольней Ивана Великого.

Сегодня можно снять декалькомани,
Мизинец окунув в Москву-реку,
С разбойника-Кремля. Какая прелесть
Фисташковые эти голубятни:
Хоть проса им насыпать, хоть овса...
А в недорослях кто? Иван Великий —
Великовозрастная колокольня...

...Река Москва в четырехтрубном дыме,
И перед нами весь раскрытый город:
Купальщики-заводы и сады
Замоскворецкие...

Стоя на старом, тогда еще чугунном, но все равно именуемом Большим Каменным мосту (он тогда приходился в створ Ленивки), поэт упирался взглядом в кремлевский холм с крепостными стенами, тоновским дворцом, кремлевскими соборами («фисташковые эти голубятни») и возвышающимся надо всем Иваном Великим — все это отражалось в речной ряби («декалькомани»). Уткнувшись в Зарядье, взгляд соскальзывал направо, на другой берег, и находился в отдалении дымящиеся трубы МОГЭС-1⁷⁰.

Затем, просквозив по Софийской набережной, уже тогда обутой в гранит, взгляд утыкался в завод-купальщик («Красный факел», бывший завод Листа) и

⁶⁹ В это время Ц. Рысс, согласно автобиографии, работал в Наркомхозе (сообщено его внуком, Г. Шабатом). Его жена, Евгения Иоанникиевна Малиновская, и их дочь, 8-летняя Маша, все это лето провели в деревне Кулики в украинской глубинке под Сумами.

⁷⁰ Было ли их в 1931 году четыре — не знаю. В 1935 году их было пять, а сейчас и того больше.

в купы садов по-над набережной⁷¹. Большую Полянку с моста не было видно, ее загораживала большая стройка (как раз достраивался многоэтажный Дом правительства), а за ней дымящееся четырехтрубье — МОГЭС-2, более известная как Центральная электростанция городского трамвая⁷².

Если прочертить панораму еще дальше — к стрелке, то уткнешься и еще в одного «купальщика» — в комплекс кирпичных зданий кондитерской фабрики «Красный октябрь» (бывшая фабрика Эйнема) на Берсеневской набережной, а за ними, возможно, и в цеха Голутвинской мануфактуры за каналом. Не отсюда ли и «пряжа» в этих стихах? Или, может быть, ее занесло с Суконного двора?⁷³ Ведь для того чтобы залететь в стихи, не обязательна и ткань — достаточно имени⁷⁴.

До конца замыкать панораму и «снимать декалькомани» с Христа Спасителя — еще одного архитектурного «недоросля» — Мандельштам не стал: глаз радовал он и тогда...⁷⁵

А что же сама Москва — с ее недоступным грядущим и «стеклянными дворцами на курьих ножках»?

...Ей некогда. Она сегодня в няньках.
Все мечется. На сорок тысяч люлек
Она одна — и пряжа на руках.

Несмотря на всю суету, на весь «дробот», Москва, как и в 1918 или 1922 году, представляется Мандельштаму буддийской, азиатской, неподвижной, стоячей, срединной («Москва — Пекин...»):

Полночь в Москве. Роскошно буддийское лето.
С дроботом мелким расходятся улицы в чоботах узких железных.
В черной оспе блаженствуют кольца бульваров...
Нет на Москву и ночью угомону,
Когда покой бежит из-под копыт...
Ты скажешь — где-то там на полигоне
Два клоуна засели — Бим и Бом...⁷⁶

Тема шума и «дробота» Москвы подхвачена в стихотворении «Еще далеко мне до патриарха...»: телефон, воробьи, трамваи. Через повседневность жизни, через реалии переданы воробьиная бездомность поэта, его неустроенность и безбытность. Но мало кто знает, что «целлулоид фильма воровской» — это не только «воровская фильма» «Путевка в жизнь»⁷⁷, но еще и целлулоидный рожок, с помощью которого можно было «экономно» звонить по телефону-автомату, не опуская в него пятнадцатикопеечную монету⁷⁸.

⁷¹ Перед Английским посольством, например, и перед 19-й школой — бывшим Институтом благородных девиц.

⁷² На Болотной набережной — прямо за будущим кинотеатром «Ударник».

⁷³ Комплекс зданий постройки начала XVIII века на месте современного Большого Каменного моста, примыкавший к Софийской набережной и снесенный при строительстве моста в 1937 — 1938 годах.

⁷⁴ Упомянем из добросовестности и еще одно предприятие текстильной промышленности в окоеме: корпуса Краснохолмского камвольного комбината (бывшего Шрадера) с его прядильным и ткацко-отделочным цехами за Балчугом.

⁷⁵ А третью, теперешнюю, вертикаль Мандельштам, к его счастью, видеть не мог: да и недорослем черетелиевского Петра Великого никак не назовешь.

⁷⁶ Кстати, Бим и Бом — это не только популярные сатирики Гарин и Вильтзак, но еще, по догадке Э. Герштейн, и ночная проверка трамвайных путей, začínающаяся двумя контрольными ударами молотом по рельсу, после чего нередко начинали что-то подправлять и со звоном ремонтировать (ГЭ, 22).

⁷⁷ Между прочим, «Путевка в жизнь» режиссера Николая Экка — еще и первая советская звуковая картина. Ее премьера состоялась 16 мая, а с 1 июня фильма (как тогда говорили) вышла на широкий экран.

⁷⁸ Сообщено Н. Поболом (Полян П. От составителя. — В кн.: Собеседник на пиру. Памяти Николая Поболя. М., «ОГИ», 2013, стр. 10). Ср. о Б. Лапине: «Однажды он принес кусок киноленты, и мы рассматривали ее на свет» (НМ, 2, 539).

Здесь же и тогда, летом 1931 года и на Полянке, Мандельштам в очередной раз «поверил в грядущее, но понял, что он уже в него не войдет. <...> „Новое” представилось ему в виде спортивных праздников (ездил на какой-то футбол) и „стеклянных дворцов”...» (НМ, 2, 726). Сопряженное же с этим будущим настоящее — вся эта современность à la «Москвошвей» и раскулачивание — необоримо притягивало его. В результате — «мучительная настроенность на приятие жизни, на жажду пойти по тому же пути при полной невозможности это сделать» (НМ, 2, 728).

То же в стихах, замешанных на «присяге чудной четвертому сословью»:

Чур! не просить, не жаловаться! Цыц!
 Не хныкать!
 Для того ли разночинцы
 Рассохлые топтали сапоги, чтоб я теперь их предал?
 Мы умрем, как пехотинцы,
 Но не прославим ни хищи, ни поденщины, ни лжи.

Интересно, что в это самое время — в августе — сентябре 1931 года — произошел неожиданный всплеск внимания и к самому Мандельштаму со стороны советской власти в лице литературного начальства.

Еще неожиданней был следующий ход. 1 сентября Леопольд Авербах как секретарь фракции ФОСП обратился к секретарю ЦК и МК ВКП(б) Л. М. Кагановичу и секретарю ЦК ВКП(б) П. П. Постышеву с письмом № 190 с просьбой об ассигновании двух миллионов рублей на строительство жилищного комбината писателей: «Целый ряд видных пролетарских писателей, как например: ФАДЕЕВ, ЕРМИЛОВ, ГЕРАСИМОВ, ЖАРОВ, УТКИН, ЛУГОВСКОЙ, КОХАНА, МАТЕЙКО, ТРОЩЕНКО и многие другие не имеют удовлетворительной площади. // Ударники, призванные в литературу, и ряд видных попутчиков, предоставление жилой площади которым имеет политическое значение: БАБЕЛЬ, ТРЕНЕВ, ЕВДОКИМОВ, НОВИКОВ, ПАВЛЕНКО, ГОЛЬЦЕВ, МАНДЕЛЬШТАМ и др., нуждаются в жилищной площади, работая сейчас в недопустимых условиях»⁷⁹.

Любопытно, знал ли Мандельштам, переведенный из «попутчиков» в «видные попутчики», о таком повышении?

Сам он к этому времени закончил стихотворение «Сегодня можно снять декалькомани...», начатое 25 июня. На котором, собственно, и закончилась первая «Московская тетрадь».

После чего, почти без паузы, началась проза — проза об Армении, будущее «Путешествие в Армению». Вернее, продолжилась, ибо самое начало работы надо отнести еще к маю, когда Мандельштаму вдруг ложно показалось, что поэзия его отпускает и «большой цикл лирики» — закончен. Возможно, толчком тут послужило 11 мая — день рожденья Кузина, ярко запечатленное в главке о Замоскворечье.

30 сентября он заходил в «Новый мир» к Вячеславу Полонскому, записавшему в свой дневник: «30/IX, 31. Заходил Мандельштам. Постарел, лысеет, седеет, небрит. Нищ, голоден, оборван. Вздвигнут как всегда, как-то невравстенически взвихривается в разговоре, вскакивает, точно ужаленный, яростно жестикулирует, трагически подвывает. Самомнение — необычайное, говорит о себе, как о единственном или, во всяком случае, исключительном явлении. То, что его не печатают, он не понимает как несоответствие его поэзии требованиям времени. Объясняет тысячью различных причин: господством бездарности, халтуры, гонением на него и т. п. Требуется, чтобы его печатали, требует денег, настойчиво, назойливо, намекая на возможность трагической развязки. В нем, конечно, чуетя (sic!) трагедия: человек с огромным поэтическим дарованием, с большой культурой — он чужд нашему времени, и ничего не может ему дать. Он в своем мире — отчасти прошлого, рафинированных, эстетских

⁷⁹ «Счастье литературы». Государство и писатели. 1925 — 1938. Документы. М., «РОССПЭН», 1997, стр. 113 — 114.

переживаний, глубоко индивидуальных, узких, хотя и глубоких, — но ни с какой стороны не совпадающих с духом времени, с характером настроений, царящих в журналах. Поэтому он со своими классическими, но холодными стихами — чужак. И налет упадочности на них, конечно, велик. Что с ним делать? Грязен, оборван, готовый каждую минуту удариться в истерику, подозревающий всякого в желании его унизить, оскорбить, — у него нечто вроде мании, — тяжело с ним встречаться и разговаривать. Тем более, что помочь ему трудно»⁸⁰. Липкин, приходивший к Мандельштаму со своими стихами примерно в это же время, добавляет к портрету такие черточки, как похудевший и обсыпанный перхотью⁸¹.

Продолжим цитату: «Я дал ему аванс — рублей шестьсот — под прозу. Написал два листа — требует еще, так как не может продолжать»⁸².

Эти 600 рублей — поэту, конечно, в помощь, и за них — пребольшое спасибо. Но оба понимали: это чистое одолжение, одноразовая подачка, собес. И, если хотите, классовое сострадание, ибо кому-кому, а Полонскому было совершенно ясно: даже если Мандельштам закончит свою прозу, напечатать ее он все равно едва ли сможет.

К тому же вскоре выяснилось, что это и не его уже забота: спустя месяц или полтора Полонского отрешили от «Нового мира». Последний номер, который вышел при его редакторстве, — ноябрьский за 1931 год⁸³.

Сменил Полонского Иван Гронский — такой же литературный чиновник, как и Полонский, только куда более далекой — просто решительно иной — эстетической ориентации. Тем не менее именно он исправил «ошибку» предшественника и поместил в июньском номере за следующий, 1932 год, потрясающую подборку стихов Мандельштама: «Рояль», «Батюшков», «Ламарк», «Там, где купальни, бумагопрядильни...».

На Покровке и в Болшево

В октябре Мандельштамы покинули гостеприимные рыссовы «хоромы». Мария Цезаревна Рысс запомнила такой родительский разговор: «Когда мы идем через поле к даче, папа говорит маме, что, когда Мандельштамы уедут, надо будет сделать генеральную уборку, в квартире грязь и безобразие, и соседи очень недовольны»⁸⁴.

Октябрь Осип и Надя кантовались, вероятно, у братьев, а в ноябре Мандельштамы сняли комнату на Покровке: дом 29, квартира 23⁸⁵.

Комната эта принадлежала А. М. Фельдман, матери Е. Л. Каранович. По другим сведениям — Олегу Ефимовичу Эрбергу, поэту-ничевоку, переводчику и востоковеду-дипломату⁸⁶.

При этом Мандельштам якобы постоянно тянул с оплатой за съем и предлагал вместо денег свои рукописи, говоря, что со временем они будут

⁸⁰ Полонский В. Моя борьба на литературном фронте. — «Новый мир», 2008, № 6.

⁸¹ Липкин С. «Угль, пылающий огнем...»; см. также пересказ: Голубков Д. Н. Это было совсем не в Италии... Изборник. М., «Маска», 2014, стр. 206. Кстати, Липкин приходил к Мандельштаму на Старосадский, так что возможно, что какое-то время между Полянкой и Покровкой поэт снова жил у брата Шуры.

⁸² Полонский В., там же.

⁸³ «Мне эта возня не кажется чем-то серьезно литературным...» (Из дневника Вяч. Полонского), стр. 287.

⁸⁴ Из воспоминаний Е. И. Малиновской. Большой проблемы они из этого не делали: «Могли ли мои родители предположить тогда, что через много, много лет будут рассказывать, как в свое время они сумели немного помочь бездомному гению?» (сообщено Г. Шабатом).

⁸⁵ Разыскано Л. Видгофом.

⁸⁶ Устное свидетельство Н. А. Котрелева — со слов его школьной учительницы Майи Захаровны Дукаревич, рассказывавшей ему в 1950-е годы, в свою очередь, со слов своей подруги — жены Эрберга.

очень дорого стоить. Действительность, увы, была еще печальней: «Мы прожили два месяца в наемной комнате на Покровке — в комнате женщины, уехавшей на работу в Сибирь, но — увы! — за комнату не заплатили» (НМ, 2, 147).

Шабашницей в Сибири, заочной музой Мандельштама и адресатом его эпиграммы поневоле была Е. Л. Каранович:

Ох, до сибирских мехов охоча была Каранович...
 — Аж на Покровку она худого пустила жильца.
 «„Бабушка, шубе не быть! — вскричал запыхавшийся внучек,
 — Как на духу Мандельштам плюет на нашу доху...”»

Эпиграмма читалась на два голоса — Мандельштамом и Яхонтовым, всегда готовым споспешествовать другу в чем-нибудь смешном. Другим партнером в шуточных стихах был Кузин, но тут партнерство было иным: они их даже писали вместе (например, о Вермеле), как некогда с Лозинским: «В шутках Кузина всегда было нечто буршевское, чуждое Мандельштаму. Кузин обожал всякие буриме, а это не свойственно спонтанной и свободной шутке Мандельштама. <...> Шутка Мандельштама построена на абсурде. Это домашнее озорство и дразнилка, лишь изредка с политической направленностью, но чаще всего обращенная к друзьям — к Маргулису, ко мне, к Ахматовой. Это стихок-импровизация „на случай” или игра вроде тех, в которые он играл с моим братом, например, совместное заявление в Комакадемию о том, что „жизнь прекрасна”. В шутке Мандельштама всегда есть элемент „блаженного бессмысленного слова”» (НМ, 2, 147).

Надежда Яковлевна между тем устроилась на работу в «газету гнусную одну» — в «ЗКП» («За коммунистическое просвещение»), где уже некоторое время работал «старик Маргулис» (НМ, 2, 147 —148):

Старик Маргулис под сурдинку
 Уговорил мою жену
 Вступить на торную тропинку
 В газету гнусную одну.
 Такую причинить обиду
 За небольшие барыши!
 Так отслужу ж я панихиду
 За ЗКП его души...

Перед этим она некоторое время работала в «Известиях». Служба давала Надежде Яковлевне повод утверждать об этом времени: «Кормилицей была я — Мандельштам подвергся уже полному остракизму...» (НМ, Т.2, 147).

Серьезное обострение хронического туберкулеза у нее случилось уже в середине ноября. Сам Мандельштам в эти дни грипповал (4, 145), так что поначалу в больнице ее навещали другие (мама, брат и почему-то Шенгели).

Почти в эти же дни в больницу, а точнее, в знаменитый роддом Грауэрмана на Воздвиженке попадает и Шурина жена, Леля Гурвич. Шура отвез ее туда 19-го, роды были очень тяжелыми, растянулись на трое суток, пока наконец 21-го на свет божий не появился еще один Александр Мандельштам — Юниор («наследничек», как любовно называл его дядя-поэт). В Москве в это время был и Женя, так что все трое братьев дружно ходили под окнами роддома. Когда Шурик немного подрос, а его нелегальные дядя и тетя иногда приезжали откуда-то с Волги и тайком ночевали у них, он, просыпаясь раньше, говорил: «Надя спит, Ося спит, Шура один»⁸⁷.

⁸⁷ Лето 1967 года в Верее: Н. Я. Мандельштам в дневниковых записях Вадима Борисова. Публикация и подготовка текста С. Василенко, А. Карельской и Г. Суперфина. Вступительная заметка Т. Борисовой. — В кн.: «Посмотрим, кто кого переупрямит...» Надежда Яковлевна Мандельштам в письмах, воспоминаниях, свидетельствах. М., «АСТ (Редакция Елены Шубиной)», 2015, стр. 497.

Самый конец года, как и конец года предыдущего, пришелся на очередной «бэст» от ЦЕКУБУ — на этот раз дом отдыха в подмосковном Болшево⁸⁸. Мандельштам, как обычно, сторонился академической публики с ее внутримарксистскими диспутами и поэтическими вкусами (Сельвинский, Кирсанов, Багрицкий). Но с интересом и улыбкой слушал пожилую осетинку (у нее в ученых числились сыновья), точно уловившую нерв его положения: единоличник, не желающий идти в колхоз! «Ося, ты лучше иди, не то пропадешь, видит Бог, пропадешь», — добавляла она (НМ, II, 254).

Здесь же, в Болшеве, Осип Эмильевич начал изучать еще один язык — итальянский: уж если проситься в колхоз, то хотя бы в тот, что носит имя товарища Данте!

Большая проза несовместима со стихами, проскакивают только мелкие очерки, рецензии, записи в блокнот. А это означает, что большая проза — «Путешествие в Армению» — была закончена или на Покровке или в Болшеве.

Так что Мандельштам отработал аванс Полонского, но показывать результат было уже некому. И не потому что Полонского сняли, а потому что вообще — некому.

То, что спустя полтора года «Путешествие» все же увидело свет в «Звезде», было маленьким, но истинным чудом.

(Продолжение следует.)



⁸⁸ Мы знаем, что в середине декабря Мандельштам был в Болшево, но не знаем даты начала путевки: если 5 декабря он был в Москве, то наверняка видел бы и слышал, как в полдень взрывали храм Христа Спасителя.